

В.М. Лебедев

И ЭТО ВСЁ О НАС

Томск

Издательский Дом Томского государственного университета

2017

УДК 82-94

ББК 84

ЛЗЗ

Лебедев В.М.

ЛЗЗ И это всё о нас. – Томск : Издательский Дом
Томского государственного университета, 2017. –
160 с.

И это всё о нас

Удержи свое милосердие, – вещали тысячи гласов, –
не возвещай нам его великолепным словом,
если не хочешь его исполнить. Не соплощай
с обидою насмешку, с тяжестью ее ощущение.

А.Н. Радищев

Вместо предисловия

Я всё это откладывал на потом. Пытался писать, когда было трудно и нельзя заниматься своим делом. В такие часы можно было отдохнуть, подумать, попытаться свои мысли положить на бумагу для тех, кто придёт на моё место, для близких и родных. Спешу не опоздать.

Мне приходилось слышать что-то и даже читать о том, что человеку не удаётся сделать задуманное перед смертью. Однако не представлял, что это ощущение такое сильное и острое. Нет, это не только чувство беспомощности, неизбежности. Оно – нечто большее и плохо поддающееся описанию.

Может быть, и есть время для выполнения заветной мечты, но нет сил и, кажется, умения. Где-то там – хорошо спрятанный порок воли, её осознаваемая ущербность шепчет тебе невнятным образом, что больше ничего не сделаешь. Творец уже умер, исчерпал себя, скончался наконец, а ты – его плоть – не в состоянии продолжить, выполнить, завершить его дела, начинания и даже мысли. Да, да, мысли. Они путаются, напевают друг на друга, образуя какие-то причудливые «горки», рассыпаются, как в калейдоскопе, вызывая досаду и беспомощность от неумения их собрать, выстроить в какую-то логическую цепь. Понимаешь, что мысли уже больше не подвластны тебе.

Вот я и решил собрать воедино всё, что было написано мной за многие годы. Так появилась эта книга, задуманная и выполненная в часы, свободные от науки, словно внебрачное дитя.

Любая семья имеет свои корни. Они есть и у нас. Устные предания со временем размываются, забываются. А жаль.

В нашей жизни так много интересного, заслуживающего внимания. Мне хотелось записать хотя бы то, что рассказывали мои родители, бабушка, не говоря уже о том, что происходило на моих глазах.

Люди так устроены, что считают себя лучше, умнее, деятельнее своих предшественников. Более того, иногда сложно понять, почему дети стыдятся прошлого своих родителей. Не хотят говорить о них. Надо очень любить своих предков, для которых церковно-приходская школа была «потолком образования», а иногда они учились читать и писать, потому что их «образовывали» сама жизнь, работа, необходимость руководить людьми.

Всё, что здесь написано, построено по вполне понятной системе: рассказы моей бабушки, мамы, папы, сестры и мои.

Бабушка – Степанида Фоминична, мама – Мария Яковлевна, папа – Максим Гаврилович, я – Владимир Максимович, моя жена – Людмила Фёдоровна, внуки – Лена и Андрей, дети Бориса и Наташи. Все – Лебедевы.

Рассказы моей бабушки

Родилась она где-то под Полтавой. Отец мне называл уезд и село, где жили они – Прудеевы. В период столыпинской реформы их привезли в Сибирь, на Алтай. До Омска ехали по железной дороге, а затем до места назначения добирались кто как мог. Родители бабушки остановились в селе Ключи Алтайского края. Действительно, били ключи, хорошее пресное озеро, вода в колодце близко, пахотных угодий и выпасов достаточно. Более того, в нескольких километрах проходила полоса соснового бора. Она тянулась от Новосибирска куда-то в Казахстан, всего два-три километра шириной, и пролегла с севера на юг. Чудо природы! Сосновый бор был новинкой для приехавших украинцев, их мало волновало происхождение и назначение этой лесной полосы. Главное – есть из чего строить дома, где пахать и сеять, заготавливать корм для скота.

Приехавшие подружились с местными, завязались родственные отношения. Так, решено было отдать Стешу, мою бабушку, за Гаврилу Павловича Лебедева, казака, проживающего в соседнем селе Петухи. Раньше согласия невесты не требовалось, обо всём договаривались родители, и это считалось нормой. Бабушка так рассказывала об этом:

– Когда я его (Гаврилу) первый раз увидела на сватовстве, то ничего не почувствовала, кроме отвращения. У него за ухом мок большой лишай – золотуха.

Жизнь в новой семье была грубой. В родительском доме бабушку любили, ласкали, называли не Степанидой, а Сте-

шенькой. Здесь же мужики считали жён чем-то более низким по рангу, видели их предназначение в том, чтобы готовить, убирать, стирать, работать в поле, рожать и выхаживать детей. Жили большими семьями: родители, дети, их родственники и т.п. Так легче выжить в суровых алтайских условиях, в кулундинской степи.

Меня всегда поражал выбор моих предков. Я уже писал о великолепной природе в Ключах. Но они выбрали другое место – солонцы. Солёное озеро почти с трёх сторон окружало село. Вода в колодцах солёная, в огородах всё плохо росло. Сеять, косить ездили через деревянный мост узкой шейки солёного озера за 10–15 км, где действительно хорошие угодья. Если бы мои предки проехали ещё 10 км, то можно было остановиться в хороших местах – селе Каип, там большое рыбное озеро, хорошие пахотные земли. Но они остановились именно в Петухах.

Разгадка их выбора стала мне понятной много лет спустя. Мы семьёй отдыхали на берегу Азовского моря, в Ореховой роще. Санаторий был отличный, но пробираться к воде, в которой можно купаться, приходилось через солонцы, залитые водой. Правда, к воде можно было подойти по деревянному пешеходному мосту. В других местах на юге я чувствовал себя не очень «важно»: жена и сын обычно шли бодро и быстро, а я, как всегда, плёлся за ними. Здесь же всё преобразилось. Я был бодр, хотелось ходить, петь (хотя у меня нет ни голоса, ни слуха), а моя семья всегда была где-то позади меня. Из-за дурацкой привычки «всё анализировать и делать выводы» я попытался понять, в чём тут дело. И вдруг меня осенило! Мы находились точно в таких же местах, какие были в Петухах. Может быть, и мои дальние родственники, оказавшись в тех

местах, вспомнили свою Родину. Во мне точно «взыграли» их гены, если можно так сказать. Это было похоже на чудо.

Но вернёмся к моим прародителям. Семья, в которую привезли Стешу, большая: братья, их жёны, дети, другие родственники. За столом всегда тесно. Особенно выделялся один из братьев. Он был вынослив и неприхотлив во всём: мог спать на земле, положив под голову полено, работать без усталости. Зимой и летом ходил без головного убора, в расхристанной (не застёгнутой на груди) одежде. Ухаживать за скотиной, выходить на улицу ему приходилось и в хорошую погоду, и в снег, пургу, буран. Снег набивался в волосы, таял в хате и замерзал во дворе. Волосы скатывались в стручки, как в горохе или фасоли, поэтому называли семью Стручками, а не Лебедевными. Прозвище усваивалось проще и быстрее.

Стеша была стройной и высокой. Муж, Гаврила, её обижал, даже бил. Она, как тростинка на ветру, гнулась, но не ломалась. Покорная, работающая, в 1909 году родила сына. Его называли Максимом. Характером мальчик был скорее в мать, чем в отца: впечатлительный, всё принимал близко к сердцу. Бабушка (его мама) мне рассказывала, что однажды, когда забивали скот «на мясо», он отказался есть свежатину (пожаренное мясо только что зарезанного барана), сказав: «Воно було живе». Здесь уместно сказать и о нашей петуховской речи.

По национальной принадлежности и говору село делилось на местных (казаки), украинцев и белорусов, которых, опять-таки по месту прежнего жительства, называли «могилёвцами» – приехавшими в столыпинскую реформу из-под г. Могилёва. Каждая из этих групп объединялась, сохраняла свои обычаи, язык. Помню, когда моя сестра вышла замуж за могилёвца, то его мать сказала ей: «Бери кайстру и иди в мага-

зин». Сестра не знала, что такое «кайстра», и муж объяснил – это сумка.

Группы «петуховцев» всегда сторонились, презирали и побаивались друг друга. Особенно это касалось могилёвцев, среди которых были больные сифилисом. Зрелище они являли жутковатое: проваленный нос, забинтованный белой тряпкой, хриплый голос, недостатки в развитии фигуры.

Иногда неприязненные отношения между группами выливались в жестокие драки. Били палками и всем тем, что попадало под руку. Один из участников рассказывал, что в пылу драки он перемахнул, как птица, не останавливаясь, что называется, «с ходу», высокий двухметровый забор, который окружал наш дом.

Гаврила ушёл из дома где-то в 1930-х годах. К этому времени уже родилась моя сестра – Груша. Мама рассказывала, что когда дед Гаврила бил бабушку, мама в углу хаты (комнаты) закрывала её собой, держа на руках крохотную Грушу. Несмотря на это, Гаврила умудрялся достать кулаками бабушку. Сцены были жуткими. Поэтому его отъезд в г. Белорецк как бы на заработки был своего рода «облегчением» для семьи.

Годы 1930-е, особенно их начало, были голодными. Отец и мама тоже уехали на заработки в г. Белорецк. Бабушка осталась с Грушей на руках. Можно только представить, но не дай бог пережить это время! Трудно объяснить некоторые вещи. Зерна на посев весной не было. Люди жили в ожидании голода. И вдруг – об этом нельзя писать без слёз – поля зазеленели рыжиком – это злак, похожий на просо. Урожай его был необычным, хотя до этого сельские вообще не знали об этом злаке и, естественно, не выращивали его. Из рыжика выпекали хлеб,

варили кашу. Смогли пережить зиму. Что это? Как объяснить, почему так случилось, откуда пришла помощь? Поневоле поверишь в провидение. Природа помогла или Бог, но больше такого урожая рыжика петуховцы не знали.

Голод – это страшно. По дорогам бродили киргизы (так называли казахов). Они нередко умирали прямо на дороге. Как рассказывала мама, один из них – рослый мужчина – зашёл в дом, лёг на пол у дверей и сказал, что не уйдёт, если его не покормят. Мама очень испугалась. У неё на руках маленький ребёнок – Вася. Хорошо, что зашёл сосед и вытолкал из избы этого «гостя». Жалости, сострадания у людей не было, ведь они сами были такими же, разве что оставались в своих домах, в своём селе.

Вспоминаю, как я впервые понял, что такое голод. Ко мне в гости приходил соседский мальчишка – Володя Чеченцев. Он был полным. Мы не голодали, и мама его подкармливала, как могла. Когда я сказал ей, что Володя хорошо поправился, мама объяснила, что полнота – это отёк на лице от голода, а не от хорошей жизни.

В дошкольном возрасте я сделал для себя ещё одно открытие. Мне казалось, что думаю я один, а оказалось, что умеют думать все окружающие меня люди!

Поразили меня рассказы бабушки о революционных годах. Белые пришли в Петухи после боя. Местные казаки, узнав, что наступают белые, решили дать им бой. Выпили, прикрепили на древки косы – получилось что-то вроде пик – и отправились в Ключи воевать. Бабушка рассказывала, что вернулись они скоро. Дед соскочил с коня и велел моему будущему отцу спрятать жеребца в дальнем дворе. Вскоре пришли и белые. Они ходили по дворам, забирали мужиков на

расправу. Дед спрятался на печи. Бабушка с улыбкой говорила, что его «било, как в лихорадке». Зашёл военный, спросил, где муж. Подошёл к печке, отдёрнул занавеску и увидел там Гаврилу, бьющегося в судорогах. Бабушка нашла, сказала, что он болен тифом. Военный в панике выбежал из избы.

Расправа была ужасной. Мужчин и парней, которые отказывались идти к белым, расстреливали, топили в колодцах, живыми закапывали в вырытых наспех ямах. Односельчане говорили, что ещё на следующий день земля шевелилась – так тяжело умирали раненые. Белые так лютовали, что и пере-сказать трудно. Страх был настолько сильным, что мой дед Гаврила, участник русско-японской войны, лихой казак, побывавший под пулями, прятался на печи и бился, как в лихорадке. Один из петуховцев, брошенный белыми в колодец, кричал в нём больше суток. Крик вырывался как бы из-под земли.

Когда отца забрали на фронт – не призвали, а именно забрали – бабушка и мама остались с двумя малолетними детьми. Вася к этому времени умер от оспы. Мама работала в колхозе им. Кирова целыми днями. У сельских жителей, особенно в это время, рабочий день длился от восхода солнца до заката, для себя оставалось время только на сон. Мы, дети, находились под присмотром бабушки, поскольку мама работала в поле километрах в 10–15 от села. Эти места назывались бригадами. Люди там жили во временных постройках, варили еду и питались за длинным столом из строганых досок. Работающим в поле давали белый хлеб. Мама ночью, недосыпая, шла пешком, приносила нам этот хлеб и вновь уходила в бригаду. Этот хлеб – самое лучшее лакомство, которое было у меня в детстве.

Хлеб выпекала (такой хлеб!) только одна женщина в селе – Вера Орликова, или Орлиха, как её называли односельчане. Белый хлеб в исключительных случаях также выдавали другим работницам и подросткам. Руководили женщинами председатель колхоза и бригадир, которые по состоянию здоровья не призывались в армию. Война войной, а человеческая (женская) плоть давала себя знать и в это время. Молодые бабы иногда заигрывали с бригадиром. Селяне после войны ещё долго вспоминали его слова. Подтрунивающим над ним женщинам он говорил: «Про це бабы ша!» – и таким образом заканчивал все женские шутки.

Белый хлеб выдавали и тем, кто ездил в лес (бор) за дровами. Запомнилась фраза председателя колхоза, когда кто-то возмущался, отказываясь от работы: «Что кричишь? Хлеба дам, и в бор поедешь!» Эту фразу, но уже как шутку, вспоминали и после войны.

Бабушке было тяжело. Два подростка, огород, корова, куры. Надо поливать, косить траву, заготавливать её на зиму, а это властью запрещалось. На горчице (в солонцах) высились небольшие кучи (кочки), на которых росла трава, и селяне косили её косой или серпом. Потом всё это на себе, на ручной тележке свозили во двор, сушили, готовили к зиме. На эту страду бабушка брала и нас. Сестра, которая была постарше, считалась помощницей, особенно когда везли заготовленную траву домой, ну и я, в то время 4–5-летний мальчик.

На бабушке и домашние хлопоты: надо было варить, стирать, кормить, обшивать семью.

Она ткала. Станок был у Лысенко, живших за несколько дворов от нас к центру села. Мы его приносили, собирали. Я его считал сложной «машиной». Станок занимал почти всю

хату (комнату-кухню). Челноки, заправленные по-разному окрашенной шерстяной нитью, сновали по основе под проворными руками бабушки то влево, то вправо. Для меня всё казалось чудом: выходил разноцветный ложник (покрывало на кровать), дорожка на пол или полотно на нижнее бельё. Отец позже, после войны, смеялся, что не надо руками чесать спину в такой рубахе – достаточно поводить спиной по стене, и кострица (остатки оболочки конопли) могла в кровь разодрать кожу.

Бабушка брала нас и «драть» (заготовливать) соль. Соль добывали на озере километрах в пяти от села. Заготовители спускались с крутого берега вниз, руками выбирали со дна озера кристаллы соли, наполняли вёдра, а затем тащили их в гору к телеге. Кристаллы иногда были крупными, сверкали на солнце, в некоторых внутри попадались маленькие червячки. Трудно понять, как они могли жить в этих кристаллах! Для заготовки такие кристаллы не годились, брали мелкие. Руки и ноги были красными от солёной воды, а ещё надо всё это «богатство» на телеге тащить несколько километров до села. Соль заготовливали на зиму, толкли кристаллы в чугунной ступе, превращали в обычную столовую соль.

Воды в солёном озере много. Рядом били ключи. Вода, стекая в озеро, со временем прорывала «ривчаки», т.е. стоки (канавы), по которым она текла. Это были пресные воды, густо заросшие по краям травой, камышом. Они не высыхали. В одном из стоков я видел большую «водяную крысу». Видимо, так у нас называли выдр. Точно не знаю.

Бабушка не только была опорой нашей семьи, но и помогала односельчанам, знала заговоры. Ей, например, приносили кричащего грудного младенца. Она брала его на руки, что-

то шептала над ним, и ребёнок затихал. Лечила от «сглазу», когда кто-то посылал глазами недуг другому; от испуга – она выливала воск в чашку с водой, которую держала над головой «испуганного», а мы затем, переворачивая застывший воск, пытались рассмотреть, чего или кого человек испугался. Там всегда «рисовалась» какая-то картинка.

Когда бабушка умирала, я в Москве защищал кандидатскую диссертацию в Московском университете. Она очень просила меня приехать, хотела передать свои способности внуку. Узнав об этом, мой научный руководитель сказал, что я не могу уехать за несколько дней до защиты: «Считай себя мобилизованным, как в армии». Так и похоронили бабушку без меня. Позже на могиле я поставил памятник с её портретом и инициалами, выбитыми на камне. Уже тогда мне стало понятно, что не ты управляешь своей жизнью, а жёсткие жизненные обстоятельства управляют твоей судьбой. Почти вся моя жизнь – доказательство этой горькой правды: падения и взлёты. Для того чтобы взлететь, схватить судьбу «за хвост», нужны эти самые падения. Я в такие времена чувствовал в себе столько сил для исполнения своих желаний: встать и «взлететь» ещё выше! Друзья нередко предают. Один из них, причастных к моему очередному «падению», после «взлёта» сказал: «Ну вот, видишь, мы сделали тебе лучше». Видимо, сложно в одном человеке объединить ум, честь и совесть, но зато можно сочетать успех и неудачу. Это и есть основа нашей жизни. Главное – вовремя понять её.

Рассказы моей мамы

Родилась мама в селе Петухи Алтайского края в 1912 г. В большой семье. Я сейчас точно не могу сказать, сколько было детей в этой семье, кажется, 16 человек. Старшие растили младших. Мама была няней глухонемого братика. О нём она мне рассказала историю, которую я запомнил, как говорят, на «всю жизнь». Мальчик бегал (играл) на улице, потом зашёл в дом и «сказал», что он сейчас будет умирать. Только мама понимала, что он «говорил». Попросил арбузного мёда. Раньше арбузы заготавливали на зиму в бочках. Рецепта я не знаю, но очищенные арбузы хранились долго. Жили они в то время в коммуне, всё было общее, в том числе и арбузный мёд. Кладовщик отказался дать этот мёд. Мальчик лёг на лавку (такая широкая и длинная скамейка, обычно стоявшая вдоль стены) и действительно умер.

Коммуна «Заря» образовалась на базе петуховцев. Старшие братья мамы были активными агитаторами за создание таких коммун, входили в какие-то советские органы, которые базировались в городе Славгороде. Наименование города трудно приживалось. Крестьян, приезжавших в город, встречали конные заграждения. Казаки спрашивали крестьянина, куда он едет, и, если крестьянин не мог вспомнить наименования города, то его били (секли) нагайками и приговаривали, что он едет в Славгород. Среди крестьян Славгород поэтому называли Сикачами.

Коммуна организовывалась в 5–6 километрах от села Петухи. Вступали в неё семьями. От Варнавских, семьи мамы, в Петухах сторожить дом остался один дед.

Коммуна просуществовала недолго: из Славгорода приехали два маминых старших брата, посмотрели, что там происходит, и сказали, что сделают всё, чтобы эту коммуну разогнали. И действительно, скоро пришло распоряжение о её закрытии.

Мама рассказывала с улыбкой, как коммунары возвращались в Петухи. Это был своеобразный праздник: ехали домой с песнями, забрав свой скот и свою долю в коммуне. Только дед остался недоволен. Он в доме принимал молодёжь, его поили, кормили, ласкали, вокруг него царили веселье, песни, пляски – и вдруг всё это прекратилось.

В селе отдыхали, как могли. Всех поражала своей силой и сноровкой моя бабушка (мать моей мамы). «Гвоздём» сельского отдыха был своеобразный аттракцион. Бабушка делала в земле углубления, в которые упиралась пятками ног, и её не могла сдвинуть с места пара лошадей, при этом она держала в руках гужи (упряжь для лошадей). Только один конь мог сдвинуть её с места – это было удивительное животное. Конь падал на колени передних ног, хватал ртом траву и землю и, наконец, «побеждал», сдвигал с места мою бабушку.

Раньше, как я уже писал, родители выбирали жениха и невесту, любовь в расчёт не принималась. Сватовство походило на какой-то торг: приходил жених с булкой хлеба, его хвалили сваты, обсуждали приданое, заключали «сговор» (договаривались). Мои родители любили друг друга, и мама, когда узнала, что придут сваты, сообщила об этом своему любимому. Договорились, что в этот же вечер и он придёт свататься. По традиции, если был не один жених, то судьбу невесты решал своеобразный жребий: чью булку невеста выбирает, за того и выходит замуж. Условились в булке сделать заметку –

надломить слепок (часть булки, которая при выпечке слипалась с другой булкой). Так мама и выбрала меченую булку, а с ней и свою судьбу.

Первенцем в их семье была девочка – Груша. Она родилась в 1929 году. Ребёнок болезненный, слабый. Как рассказывала мама, Груша покрылась тонкими волосами или чем-то в этом роде. Лечили её народными средствами: выкатывали эти волосы тестом, носили под сидящими на перекладинах (специальном помосте) курами. Все измучались, но ничего не помогало, девочка всё время кричала и плакала.

Дед Гаврила «распустился» совсем. Гулял с чужими бабами, таскал из собственного дома всё, что попадёт под руку. Как-то отец и сын столкнулись в сенях (коридоре). Видно было, что за пазухой дед что-то несёт. Папа дёрнул деда за пояс, и на пол выпало несколько кусков сала. Молча разошлись – ругать родителя в те годы не разрешалось.

Я уже писал о рассказах мамы о жизни в тридцатые годы.

Война, как и всегда, для деревни стала неожиданностью. Отца забрали в армию. Мама сначала работала в поле, а затем ей поручили молочную ферму. Она не училась в школе. Читать и писать научилась по жизни. Я помогал ей заполнять наряды и отчёты, когда немного подрос. Но это было уже в первые годы после войны.

Время было тяжёлое во всех отношениях. Корма для коров на всю зиму не хватало. Ближе к весне раскрывали соломенную крышу пригонов фермы и этим как-то спасали коров. Именно спасали. Животные от постоянного недоедания плохо стояли на ногах, им сооружали подпруги: держали на ремнях, чтобы коровы не ложились, потому что к утру снег под коровой таял от её же тепла, и она примерзала к подстилке.

Мама оказалась, видимо, очень деятельной. Мне запомнились слова председателя нашего колхоза. Он украинец и говорил соответственно: «С цей женщиной среди дороги сядь – и разбогатиешь». Время было очень опасное. Мама боялась, что однажды за ней придут и арестуют. Причин для этого было много – те же неполадки на ферме, например. В селе все боялись арестов. Рядом с нами стояла усадьба Смыковых. Глава семьи работал кладовщиком, человек был внимательный, старательный и грамотный. Однажды ночью к нему приехали милиционеры. Они проводили обыск, бегали вокруг дома и ограды с горящими факелами. Зрелище это трудно описать, а тем более пережить. Смыка увезли. Дети (два парня и дочь) остались с матерью. Были и другие аресты, а вот возвращались из мест заключения немногие.

В то время проводились сельские сходы, на которых выступали представители районного начальства. На одном из таких сходов колхозница Слепченко задала вопрос. Ответ её не устроил, и она громко сказала: «Брешете вы, як советское радио». Вернулась она в село через десять лет. Разговорчивая раньше женщина стала молчаливой: никто у неё не мог узнать, как она прожила эти десять лет.

Начальство из района почему-то останавливалось у нас в доме, возможно, потому, что у мамы и бабушки всегда тепло и чисто. Однажды маме поручили везти в район одну из арестованных. Милиционеры оставили её вместе с арестованной женщиной в санях, запряжённых конём, на подъезде к Ключам, районному центру. Они по глубокому снегу не смогли переехать железную дорогу. Слабый конь завяз в снегу. Мама с арестанткой понимали, что если им не помогут, то они просто замёрзнут: поплакали и стали ждать. Через некоторое

время милиционеры вернулись, вытащили сани и доставили женщин в Ключи.

Таких случаев, когда жизнь и смерть ходили рука об руку, у мамы было много. В то время часто происходили грабежи и убийства. Так, она рассказывала, что однажды на дороге её встретил какой-то мужчина. Он встал сзади на полозья кошёвки. Но в этот раз маме повезло: под горой засветилась окнами деревня. Мужик спрыгнул с саней и сказал ей: «Это твоё счастье. Не будь этой деревни – не быть бы тебе живой!».

Без отца мама поднимала двоих детей: меня и Грушу. Сестра окончила седьмой класс. Нужно было учиться дальше, а десятилетки у нас не было. Мама делала всё, чтобы сестра продолжила учиться в Ключах, но для этого были нужны деньги, чтобы платить за квартиру, кормить, одевать девочку. А денег не было! В колхозе заработную плату начисляли не в деньгах, а только в трудоднях, которые отоваривались обычно натурой: зерном, кормом, соломой. Мама рассказывала, как она возила сено в Ключи на базар: надо выпросить у председателя колхоза одноконку (сани для одной лошади), отвезти в Ключи и продать его зимой или по весне. А до этого накопить летом траву, сложить её в стог – работа для хорошего мужика! Всю мужицкую работу приходилось делать женщине.

Я подростком, а потом и в юности, всё время думал, почему деревенские женщины обычно низкорослые, с красными руками, больные и грустные. Наверное, судьба их, молодых и красивых, сделала такими. Нам следовало бы встать перед каждой из них на колени и поблагодарить за то, что мы есть. Слово «колхозник», а тем более «колхозница», должно звучать гордо! Я, в отличие от своих товарищей по университету, а затем и по работе, именовал себя колхозником и в анкетах

писал крупными буквами, что я из крестьян. Люди стеснялись своих корней, всем хотелось быть интеллигентами. А я среди крестьян, колхозников, рабочих встречал настоящих интеллигентных людей: умных, воспитанных, умеющих не только говорить, но и (это главное!) слушать и слышать других.

У нас в семье хранился том произведений М.Ю. Лермонтова, изданный в позапрошлом веке, где ещё печаталось «Ъ». Том поистрепался, и его переплели в корочки от наставления для обучающихся трактористов. Так он и сохранился до сих пор и «красуется» в обложке «Трактор ЧТЗ», т.е. трактор Челябинского тракторного завода. Книги у нас в семье любимы. Я помню, как вечерами сестра читала нам «Наймичку» Т.Г. Шевченко, и под конец, когда Наймичка перед смертью говорила своему сыну, что «я не наймичка, а твоя маты, маты», мы не могли удержаться от слёз. Сестра знала украинский язык и, шутя, переводила с русского на украинский теоремы: «Як два боки да ще кут меж ними одного трёхкутника видповинни двум бокам да куту меж ними другого трёхкутника, то таки трёхкутники видповинни». Это теорема о тождестве двух треугольников, об их равенстве.

Бабушка ценила украинский язык больше, чем русский. Она всякий раз подчёркивала его напевность. Помню, убеждая меня, она привела такие слова: «Сила баба на ката, поехала до попа. Попа дома нема. Одни попынята чинют чобынята». По-русски это звучало бы так: «Села женщина на ката, поехала к попу. Попа дома нет, только его дети. Они чинят сапоги». Терялись, таким образом, прибаутка, её песенный слог, прелесть сказанного. Бабушка часто пела и рассказывала сказки на украинском языке, а у меня поэтому в произношении попадались среди русских и украинские слова. Я как-

то пошутил, что среди русских меня упрекали в употреблении украинских слов, а на Украине, напротив, говорили, что я не знаю украинского языка. Смешно и грустно вспомнить.

На пенсии мои родители очень болели. Я хотел, чтобы они переехали ко мне в Барнаул. У нас была большая квартира, достаток. Но папа сказал как отрезал: «Пока мы вместе, в город не поедем. Останется кто-то один – заведи к себе».

Отец слёг почти сразу после выхода на пенсию. Маме пришлось за ним ухаживать. Только тот, кто ухаживал за «лежачим» больным, может понять, как это трудно. После смерти отца мама переехала ко мне. Я уже к тому времени похоронил Люду, свою жену. Жили вдвоём. В последнее время, когда мама сломала шейку бедра, пришлось действительно трудно. Ухаживать за больным – это не значит только стирать пелёнки и менять их по многу раз в день, надо было лечить, мыть, кормить. Больные через некоторое время становятся капризными, плохо воспринимают твои заботы и не только плачут, но и громко, истерично рыдают. Приходилось, хоть и с трудом, успокаивать.

К хроническим больным участковый терапевт приходил редко и неохотно. Не дождавшись врача, я вызывал «скорую». Вот и в день смерти мамы приехали врачи неотложки. Я показывал им лекарства, которые были необходимы маме. Врач, женщина спокойная и не лишённая сострадания, обратилась ко мне и сказала, чтобы я сел и не суетился. Мама умирала. Врач пощупала её холодные ноги и посадила меня на стул у изголовья мамы. Я взял её холодеющую руку. Она была ещё в сознании и чуть пожалала мою. Так мы и попрощались друг с другом. Когда бригада скорой помощи уходила, нам навстречу вошла и участковый доктор. Не помню, что я

ей сказал – это было резко и больно. Я выставил её за дверь и остался с мамой на ночь один, а затем пришёл сын. Мы вместе с ним обрядили маму в те одежды, которые она заранее приготовила.

В последние годы она тщательно готовилась ко дню своей смерти: подготовила одежду, заботилась о времени смерти. Говорила, что хочет умереть летом и объясняла это достаточно просто. Умирать зимой – это значит создавать дополнительные заботы: земля мёрзлая, трудно копать могилу и т.д. По складу своего характера она к жизни и смерти относилась философски. Отец не мог на эту тему не только говорить, но и слушать её, боялся смерти. Мама, наоборот, говорила, что смерть неизбежна и её нужно встретить с достоинством. Меня поразила ещё одна её просьба: «Ты не забудь надеть мне на руку часы. Там я буду слушать, как они тикают».

Хоронили мы её в тёплый осенний день. Когда гроб вынесли на улицу, стал накрапывать из-под солнца мелкий, лёгкий, тёплый дождик. Как будто кто-то специально выполнял её последнее пожелание.

Рассказы отца

Отец был удивительный рассказчик. Когда он говорил, все сидели и слушали, как говорят, с открытым ртом. Рассказы его – обычно весёлые, забавные и, что характерно, проникнуты неповторимой личностной интонацией. Зять (второй муж моей сестры) как-то решил пересказать на работе только что услышанное от отца: забавное, смешное, остроумное. Товарищи по работе выслушали его, но никто даже не улыбнулся. «Почему, – спрашивал зять, – я же точно всё передал, теми же словами, что и отец!». Вот тогда я и подумал, что личность автора нельзя оторвать от содержания его рассказа. Это единство – залог успеха.

Папа очень любил лошадей. Он работал в колхозе бригадиром, затем заместителем директора совхоза по хозяйственной части. Все завидовали тому, что у него всегда лучшие лошади, сбруя и выездка. Любовь отца к лошадям поражала меня ещё с детства, особенно рассказы о них. До коллективизации в семье держали иноходца. Сила и скорость его были непостижимыми, говорили даже, что у этой лошади два сердца. Когда появилась в колхозе полуторка (грузовой автомобиль), отец доказал, что его жеребец лучше всякой машины. Лошадь не уступила в соревновании с полуторкой! За селом шофёр «выдавил» из грузовика всё, что тот мог дать, но отец верхом на своём иноходце не отстал от машины! Более того, конь ни одного раза с иноходи не сбился на галоп.

Когда отец вышел на пенсию, Люда, моя жена, договорилась с директором совхоза продать нам лошадь. Директор не

мог понять, почему она просит не автомобиль, а лошадь. Дело было зимой. Папа выехал на специально арендованной грузовой автомашине в другой район. В кузове он из тюков сена выложил нечто вроде укрытия для лошади.

Ему предлагали любую лошадь, но он выбрал кобылу, которая в совхозе обслуживала ферму: на ней отвозили всё, что необходимо для фермы, привозили сено и т.д. Как только отец увидел эту лошадь в упряжке, сразу же попросил продать именно её. И эта любовь с первого взгляда оказалась взаимной.

Мама рассказывала, что отцу трудно было забираться на бричку, в которую уже запряжена лошадь, и он использовал небольшую лестницу. Его любимица не делала ни шагу до тех пор, пока отец не усаживался в бричку и не убирал за собой лестницу, только косила глазами и ждала, когда он устроится и возьмёт вожжи в руки. До этого, сколько бы мама её ни понукала, даже хлопала по крупу рукой, лошадь с места не двигалась. Как тут можно усомниться в любви и преданности животного хозяину! Да не только! Лошадь всё прекрасно понимала умом и осознавала свою ответственность перед отцом, заботилась, если хотите, о своём хозяине.

У отца была своеобразная дружба с животными. Пёс Морьяк, большой, белый, всегда охранял запряжённую лошадь, когда отец уходил по делам в бытность заместителем директора совхоза. Товарищи по работе специально пытались отвести лошадь или забраться в повозку – он не позволял им это сделать. Как-то отец поехал за несколько сот километров на грузовом автомобиле по совхозным делам. Морьяк, сколько папа его ни уговаривал, следовал за машиной, затем по дороге потерялся. Отец вернулся, а Морьяка дома не было. Он пришёл через несколько дней, худой и уставший, но вернулся.

У нас в сарае жили ласточки, высиживали птенцов в течение многих лет. В двери сарая, сверху, отец выпилил для них квадратик, через который они вылетали и возвращались. Когда я заходил в сарай, они «кричали» и «пикировали» на меня, отпугивая от гнезда. Отца же всегда принимали ласковым щебетаньем и даже садились ему на плечо.

Я до сих пор, даже похоронив папу, не могу забыть его рассказы о войне или связанные с войной, поэтому, как умею, передаю их содержание.

Отправка на фронт. Пишу от имени отца

Нас призвали из Петухов человек десять. Довезли на лошадях до Ключей, районного центра. Выдали обмундирование и лыжи с палками. Я их раньше не видел – в селе не было лыж. Объявили марш-бросок до Кулунды, до железной дороги. Падая и подымаясь, мы добрались до окраины Ключей. Сняли лыжи, взяли их вместе с палками на плечо и так «совершили» лыжный марш-бросок до Кулунды.

На поезде довели нас до Москвы, но город я не видел. Нас на метро доставили на окраину Москвы, и с этого времени для меня началось то, что называется войной.

Всю войну я прошёл со станковым пулемётом, первым номером. Управиться с ним одному невозможно. Вместе со мной всегда был боец – второй номер. Он помогал в бою, подносил ленты (патроны). Боеприпасы хранились рядом с передовой, и второму номеру, чтобы поднести их, надо было по ходам сообщения пробежать, как говорили бойцы, «добрый крюк». Ребята молодые, бесшабашные. Они, чтобы сократить

путь к боеприпасам, перебежали через открытое пространство, и здесь их всегда находил немецкий снайпер. Сколько таких «вторых номеров» было у меня, я и не помню! Не только имён – даже фамилий запоминать не успевал. Несмотря на мои уговоры, объяснения, они считанные дни пробирались к боезапасам по ходам сообщения, а затем «соревновались» с немецкими снайперами в скорости и меткости. Что это? Русский характер, демонстрация храбрости, игра со смертью? Не знаю.

Пулемёт тяжёлый, при стрельбе буквально изрыгал огонь, и противник его легко замечал. Начинался миномётный обстрел моего окопа: недалёт, перелёт, а следующая мина ложилась прямо в цель, и вот тут надо быстро перебежать на другую позицию, изменить место. Пулемёт приходилось нести перед собой – так я заработал грыжу. Один раз не успел убежать, и меня накрыло взрывом. Как всё было – не помню. Когда меня товарищи откопали, я долго не мог понять, почему они все смеются и что-то говорят. У меня заложило уши, я ничего не слышал. Но ничего, оклемался, даже в госпиталь не попал.

Донимали бомбёжки и молодые лейтенантики-командиры, сразу после училища оказавшиеся в окопах. Они требовали дисциплины, выправки, приветствий по форме, муштры. Долго они у нас не задерживались: шли в атаку первыми, и если не немецкая, то русская пуля доставала их в это время. Иногда солдаты, обиженные ими, так и говорили: «Ну, гляди. До первой атаки, а там уж не обессудь!»

Атака, атака!?! Её трудно понять, оценить с точки зрения рядового. Она может быть первой, а может и последней. Однажды мы ходили в атаку в течение дня двенадцать раз! Шли вперёд, выбивали немцев из их окопов, затем – они нас. Мы возвращались на свою позицию, а там нас уже ждало попол-

нение. Вновь шли в атаку, выбивали немцев, затем – они нас. И так весь божий день! Всё поле между окопами было усеяно трупами и ранеными. Приходилось бежать и катить пулемёт, остановиться нельзя: свои застрелят как труса и предателя. Думать о спасении своей жизни времени не было. Раненые кричали, стонали, тяжёлые просили, чтобы их пристрелили. Вечером огляделись. Притихли.

Под шквальным огнём, да ещё с тяжёлым пулемётом – я был завидной целью. Но чудо. На мне не было ни единой царапины, хотя полы шинели напоминали решето – были пробиты, прострелены многочисленными пулями.

Перед атакой обычно была артподготовка. Надо выждать не только положенный час, но и считать минуты. Молодые командиры ретиво рвались в бой. Однажды мы выбили немцев с их позиций и не успели отдышаться, как началась артподготовка. Наши били по окопам, которые мы только что заняли. Вот тут я впервые увидел, что могут наши «Катюши»! Горели не только люди, но и земля. И такое случалось не единожды. Красноармейцы даже шутили: «05 – по своим опять!». Всю войну я слышал солдатские шутки, которые в мирное время понять нельзя, а мы так шутили и смеялись: «Ты сегодня куда?» – «В Наркомздрав (т.е. в госпиталь), а ты?» – «Я, наверное, в Наркомзем (т.е. в землю, в могилу)». При этом улыбались. Сейчас жутко об этом вспоминать.

Шли по дорогам, обсаженным плодовыми деревьями: яблони, груши и другие деревья, наименований которых я не знал. Для сибиряка это какая-то сказка. Как хорошо здесь было людям до войны!

Немецкие самолёты не давали нам покоя. Они господствовали в небе. Как-то на большой высоте показался самолёт,

все ожидали бомбёжки. От самолёта отделился какой-то большой предмет и стал падать на нашу позицию. Гром, свист, шум был такой, что заложило уши. Мы вжались в землю, прикрыли руками головы, а шум нарастал. Затем послышался удар чего-то о землю. Самолёт улетел, а мы ждали взрыва. Но его не последовало. Наши «смельчаки» пошли посмотреть место падения. Оказалось, что самолёт сбросил обычный мотор от трактора. В нём много углов, деталей, отверстий. Именно они, прорываясь сквозь воздух, издавали такие адские звуки. Когда немного отошли от страха, стали шутить и смеяться, дескать, у немцев все бомбы перевелись. Думаю, немцы знали, что делали. Это была психическая атака, и очень успешная. Я даже под огнём «Катюши» так не пугался, подобных звуков мне и после войны не приходилось слышать.

Сидели в обороне. Мне повезло. Я встретил земляка из алтайской деревни. Он жил всего лишь в полусотне километров от нашего села. Товарищ, да ещё и земляк – это мечта любого солдата: есть о чём поговорить, можно рассчитывать на взаимопонимание и выручку. А таких моментов, когда хочется иметь за своей спиной настоящего товарища, на войне было немало. В затишье нас обстреливали из миномётов, лютовали снайперы. Немцы умели стрелять.

Моего земляка ранило. Как топором была обрублена рука: от плеча до пояса. Рука держалась на лоскуте кожи у ремня. Я ножом отрезал её, перевязал, как мог. Товарищ был в сознании, попросил пить. Я приподнял его голову на своей руке, чтобы он смог сделать хотя бы глоток из фляжки. И только я приложил горлышко фляжки к его губам, как увидел, что пуля угодила ему прямо в лоб. Так и умер он у меня на руках, а я думал и не мог понять, почему снайпер убил раненого,

а не меня, живого, здорового... Ведь он всё хорошо видел. Так почему же? Думаю, что и среди немцев были люди с душой и человеческим отношением даже к врагам. Снайперу нужен отчёт об убитом, вот он так и расценил свой воинский долг и долг человеческий.

К нам попал в плен немецкий солдатик, скорее ещё мальчик, чем солдат. Ему было лет 17–18. Подвижный, услужливый, улыбчивый, он очень нравился солдатам. Стояли в обороне. Без шуток русский солдат – не солдат. Немецкий солдатик не понимал по-русски, и красноармейцы стали обучать его приветственным словам, обращению к офицерам. Всякое слово, которое он учил, – русский мат, так солдаты беззлобно забавлялись и смеялись. Однажды приехали несколько офицеров из штаба. Наш немчик, улыбаясь, обратился к старшему из них – он хотел поприветствовать, но получился конфуз, который чуть было не окончился трагедией. Немец вместо приветствия покрыл старшего в группе таким отборным матом, что тот схватился за пистолет и хотел пристрелить его на месте. Еле-еле нашим командирам удалось объяснить, что мальчик не виноват – это наши ребята в шутку научили его матерным приветствиям. Кончилось тем, что мальчишку-немца сразу отправили в тыл.

Не хочу, но помню, как мы, отступая, форсировали Дон. Речка-то как наша улица в Петухах. Мы, пехота, подошли к реке почти одновременно с беженцами. Переплывались люди (взрослые и дети), домашний скот. А немецкие самолёты бомбили без перерыва. Вода в реке от убитых была красной. Наши командиры «бросили клич»: «Спасайся, кто может! Оружие не бросать!». Я не умел плавать, да если бы и умел, то переплыть Дон со станковым пулемётом нельзя. пригото-

вился умирать. А как иначе. Если доберусь до другого берега без оружия (станкового пулемёта), то меня расстреляют свои, если останусь – немцы, которые дышали нам в спину.

Спасла случайность: мимо проплывали брёвна, скреплённые железной скобой, которые остались после бомбёжки. На них мы и добрались до другого берега. Наверное, Бог помог. Да, что касается Бога, то на фронте, когда тяжко и хотелось выжить, все, коммунисты и беспартийные, молились Богу. Сам молился и видел, как это делают другие. Так что Бог тоже «воевал», помогал нам, как мог.

Мы остановились на ночь у какой-то деревни. В село не заходили, расположились рядом. Вечером мой «второй номер» стал проситься у меня сходить в село. Он говорил: «Смотри, Максим. Видишь крайнюю хату в селе, в окне свет – это моя хата. Можно я сбегаю, а к утру вернусь». Я согласился. Наступило утро, а мой «второй номер» не вернулся. Лейтенант спросил, где мой помощник, пришлось рассказать, как было дело.

– Бери двух бойцов и немедленно верни беглеца, – сказал командир.

Мы пришли в дом на окраине села. Встретила нас молодая красивая женщина. Выслушала спокойно, бровью не повела и поклялась, что мужа не видела. Стала спрашивать, как он, где он, почему не пишет. Я ей поверил. Когда вернулись в расположение, доложил обо всём лейтенанту. Он нас развернул, взял с собой ещё двух солдат, и мы вновь пришли в тот дом, где только что были.

Лейтенант сначала осмотрел постройку: двор, изба, пригон – всё было под одной крышей. Навоз из пригона выкидывали через отверстие в торце пригона, именно там и поставили

на посту солдата. Едва вошли в хату, как этот солдат крикнул: «Стой! Руки вверх!». Так задержали нашего беглеца.

По пути в расположение части я начал с ним говорить.

– Максим, – сказал он. – Когда ты говорил с женой, я сидел в подполе (погребу). Мне так хотелось поднять рукою крышку этого погреба и выйти, но не смог. Не знаю, почему. Надеюсь, наверное, что всё обойдётся, вы уйдёте, а я останусь. Ты видел, какая у меня красивая жена. Может, потому и остался.

На следующее утро скомандовали на построение. Вывели человек пять, точно не помню. Всё было, как в тумане. Приговорённые стояли в нижнем белье, босиком. Лейтенант подал мне автомат и скомандовал привести приговор в исполнение. Я отказался. Тогда он сказал, что если я их не расстреляю, то сам встану рядом с ними. Не знаю, чем бы всё это закончилось, но тут к лейтенанту подскочил молодой солдатик из среднеазиатских по национальности и сказал, что готов привести приговор в исполнение. Лейтенант согласился.

Мой «второй номер» стоял, глядя в землю. Мне так хотелось, чтобы он посмотрел в мою сторону, но он только быстро-быстро теребил пальцами край своей рубахи.

Нельзя забыть и зиму 1942 года.

На подступах к Сталинграду мы выживали в окопах из снега. Морозы стояли лютые, как и у нас в Сибири. Трудно ночью, когда хотелось спать, а засыпать нельзя – смерть тут как тут. Многие замерзали.

На ночь нам давали спирт, чтобы как-то согреться. Наказывали, чтобы пили по одному глотку, не больше. Время от времени каждый из нас должен был подходить к соседу и не давать ему заснуть. Так и выживали ночью. Правда, некото-

рые прикладывались к фляжке, что называется, по полной. Подходишь к нему, особенно перед рассветом, а он уже закончен: выпил «хорошенько» и заснул, чтобы больше уже не проснуться.

В Сталинграде я со своим станковым пулемётом закрепился у стены разбитого тракторного завода. Вдруг почувствовал, что меня по ногам ударило, как палкой. Я сначала боли не ощутил. Оглянулся, а ступни моих ног развернулись в разные стороны.

Доставили в госпиталь. В большой комнате (палате) лежало много раненых. Их стали обходить врачи, несколько человек в белых халатах. Я слышал, как один из них говорил тем, кто его сопровождал:

– Этого в операционную, этого на перевязку.

Посмотрев на мои ноги, он, почти не останавливаясь, сказал: «В операционную». Я не знал, что это значит. Рядом со мной на другой кровати лежал уже выздоравливающий солдат. У него был костыль, видимо, как и я, ранен в ногу.

Когда врачи ушли, он мне сказал, что если тебя берут в операционную, значит, отрежут ноги.

– Вот, бери мой костыль и, как только за тобой придут, чтобы увести в операционную, бей каждого, кто к тебе подойдёт.

Я его послушал и отбивался отчаянно. Наконец меня оставили в покое, а затем наложили гипс. Лежал я в госпитале очень долго, но ноги сохранил.

В госпитале, как и на передовой, выздоравливающие всегда шутили, ведь смех – лучшее лекарство. Иногда от таких шутников не было отбоя. Одного из них главврач наказал: его полностью раздели, и он лежал только под одной про-

стынкой. Это называлось больничным наказанием. Раненый боец после этого стал, как шутили его товарищи по палате, «щёлковым».

Мне пришлось до этого лежать с ранением в пищевод. Я вспоминаю это, чтобы лишний раз подчеркнуть: мы – раненые – выживали, шутили, смеялись, выздоравливая, но не обижались при этом. Как всегда, нас кормили три раза в день. У меня был особый «приём» пищи. Вы понимаете, как это делала сестра, применяя клизму. Когда она уходила, ребята по палате почти всегда шутили: «Максим, вытри губы!»

Я очень тосковал по дому. Обычно в походе, на привале, все спали «впалку», т.е. рядом друг с другом. Со мной никто не хотел ложиться, потому что всю ночь я говорил с сыном: звал, называл по имени, просыпался, ворочался. К слову, о сне. Солдат всегда недосыпал. В походе я видел несколько раз, как от колонны отделялся боец, шёл в ногу с другими, с открытыми глазами, но спал. Обычно догонишь его, опять поставишь в строй, и мы идём дальше. Сколько надо было иметь силы, чтобы выдержать всё то, что называется войной.

На передовой я молил Бога, чтобы простудиться, попасть в госпиталь хотя бы на недельку и отлежаться, отоспаться. Но за всё время войны я ни разу не заболел. Когда вернулся домой, каждую весну и осень простывал, кашлял, сморкался, потому что безбожно текло из носа. Как это понять? Лежал в снегу, бродил весной и осенью по слякоти, мёрз, но не болел. А дома, в тепле, хорошо одетый, я постоянно простывал.

После демобилизации война ещё несколько лет напоминала о себе. «Выходили» постепенно осколки, особенно на руках. Кожа краснела, как при нарыве, и выходил очередной осколок. Жена всегда посылала меня в больницу, чтобы его

«вырезали», а не ждать, когда он «выйдет» сам. Я отказывался: страх госпиталя остался у меня на всю жизнь. Осколки собирали в спичечный коробок, на память, как говорили у нас в семье.

Были и комичные случаи, и обида приходила не один раз. Врач сельской больницы, молодой, энергичный, решил оздоравливать участников войны. Собирал нас на несколько дней. В палате нас было, кажется, пятеро. Он сообщил, что будет оздоравливать нас гипнозом. Мы ложились в кровати. Врач командовал: «Раз, два, три», – и приказывал нам заснуть. Конечно, никто не засыпал. Ради уважения к доктору мы закрывали глаза и прикидывались спящими. Через некоторое время, также на счёт «три», он требовал проснуться. Мы открывали глаза и на все его вопросы отвечали утвердительно. Нельзя хорошего человека обижать – так думали мы в ту пору. Солдат, тем более раненый, уважение к лечащему врачу сохранял всегда и везде.

Что касается обид, об одной из них могу рассказать. У меня инвалидность второй группы. Надо ежегодно ездить в район на освидетельствование. Приезжали и участники войны, потерявшие руку или ногу. Нас обследовали. Я думал: как же вам, сейчас обследующим нас, надо не уважать тех, кто защищал вас, молодых, здоровых! Как будто они подозревали, что через год вырастет рука или нога, а мои перебитые кости ног вдруг станут целыми. После очередной комиссии, когда мне стали говорить, что я хожу на своих ногах, без костылей, и нужно вторую группу инвалидности заменить на третью, я решил больше на комиссии не ездить. Не хотелось унижаться, выглядеть попрошайкой. Жена упрекала. Участник войны, не прошедший очередную комиссию, лишился

пенсии, а деньги колхознику очень нужны, поскольку нам в основном на трудодни платили натурой: зерном, сеном, отходами от зерновых и т.п.

Сын в 8–10 классах учился в Ключах, районном центре. Он жил на квартире у моего двоюродного брата – Александра Шапоренко. Судьба этого человека ужасна. Высокий, стройный, юморной, он на войне оказался в штафбате. Перед войной многих арестовывали, «сажали» на 10 лет, если не расстреливали. Забрали и его. Привели в какой-то кабинет. Там уже сидел его сосед по улице. Стали спрашивать: «Ты это говорил? Ты это делал?» На все вопросы он отвечал утвердительно. Тогда его спросили, почему же он берёт на себя так много того, чего не совершал? Объяснил ответы мой брат в своей манере: он показал на арестованного соседа, у которого были большие усы. Одного уса, то есть их половины, уже не было: видимо, на допросах у него вырывали по одному волоску. Брат сказал, что не хочет быть соседом. Осудили его быстро. Отправили на лесоповал. Через некоторое время здоровый мужик, весом в девяносто килограммов, стал весить пятьдесят!

В это время добровольцев агитировали на фронт. Говорили, что в штрафбате можно искупить свою вину кровью. Его не брали – доходяга! Кое-как упросил; пока везли на фронт, немного «откормили». «Вину» свою он искупил, был ранен в голову. Всем показывал, как под кожей головы у него пульсирует кровь: кость черепа снесло осколком.

Как-то по поводу моего приезда организовали застолье. Собрались сам Александр, его жена Матрёна, сын Иван, невестка Мария и ещё кто-то. Стали разливать водку. Сын ходит вокруг нас с бутылкой, наливает каждому, а когда под-

ходит к отцу, то говорит: «Папе нельзя. У него больное сердце». Таким же образом поступила и невестка. Я смотрел на брата: он сидел бледный и молчал, когда мы выпивали.

После обеда он окликнул меня, и мы вышли во двор. Пошли в ресторан, и он, выпивая каждую рюмку, приговаривал: «Папе нельзя! Папе нельзя!!! Я бы не стал пить, но налить мне можно было? Мне за своих родственников так было стыдно перед тобой». «Набрались» мы очень сильно. Я его едва домой довёл уже вечером. А он всё твердил: «Папе нельзя! Папе нельзя!».

После войны курьёзов было много, но во всём хотелось увидеть хорошее: лучше улыбнуться, чем нахмуриться. Когда я был уже заместителем директора совхоза, мы вместе с бухгалтером повезли представителя района обследовать колодцы в степи. До сих пор не могу забыть, как бухгалтер показывал (рассказывал), где расположены колодцы: «Тутечки, тамечки, воздечки, оно, осё сё, ото-то и т.д». Как велик русский язык! И смех, и грех, и гордость. Так заранее не придумаешь, все слова взяты из домашнего обихода.

С этим же бухгалтером, Стрикуновым, дальним родственником по первому мужу дочери, мы поехали проследить, как лёг снег на полях. Вдруг он крикнул: «Лиса! Лиса!». Вскочил на сани, конь понёс – я его не смог сразу остановить. А Стрикун упал, запутался одной ногой в полозьях. Напугал и меня, и себя. Дальше смотреть поля мы не поехали. У меня была одна мысль: довезти бы его домой живым, ведь он ударился не один раз головой по неровной дороге, да и нога...

По делам совхоза мне часто приходилось ездить в Казахстан на машине. С казахами я дружил, привозил им обычно «кирпичный чай» (плиточный). Подойдёшь к хозяину избы,

а он сидит на завалинке, руками голову обхватил и стонет: «Ай-бо-яй! Голова болит». Заварит чай, обязательно почему-то плиточный, и через некоторое время перед тобой сидит вполне здоровый человек, с которым можно говорить, дело делать. Что касается дел, то в Казахстан мы ездили за лесом. У нас в степи дерево было в особой цене, особенно берёза. Мастера из берёзы гнули дуги и полозья для упряжи.

Я всегда с ними шутил, называл их «чугунками»: они загорелые, да и без загара кожа на лице у них тёмная, коричневатого цвета. Как-то и мой шофёр назвал одного казаха чугунком. Скандал был большой. Они ему говорили: «Максиму так говорить можно, а тебе нельзя». Достоинство у этих людей развито больше, чем у нас, русских. Принимали они нас хорошо. Обычно резали барана, варили во дворе на огне в котле с содой, поэтому мясо было каким-то особым, само «отставало от костей». Голову отдавали разделявать почётному гостю.

Как-то мы приехали с председателем совхоза. Почётный гость! Слева и справа от него посадили двух красивых женщин. Они жевали мясо и, как только директор пытался что-то сказать, открыв рот, ему то слева, то справа на пальцах из собственных ртов подавали так называемую «жёванку». Я готов был расхохотаться, но сдержался: начальника надо уважать. Только говорил ему о том, что это обычай, который соблюдают все гости. Хозяев нельзя обижать.

Пришлось мне побывать и в прокуратуре. Лес в Казахстане доставали, что называется, по знакомству. Расчёт – наличными либо хлебом (зерном). Договорились с лесником, что он заготовит нам брёвна, а мы привезём ему зерно. Так и сделали. Лесник показал место в лесу, где я должен сгрузить

мешки с пшеницей. Отвёз. Мешки были с моими инициалами: ЛМГ, то есть Лебедев Максим Гаврилович. Когда меня вызвали к следователю, то в его кабинете я увидел свои мешки с совхозным зерном. Пришлось во всём признаться. Мешки мне не вернули, а у лесника были большие неприятности.

Вести хозяйство в это время было трудно, всего не хватало. Доставали необходимое, как могли, правдами-неправдами, иначе выжить трудно. Даже сено для скота приходилось заготавливать в Красноярском крае. Везли его по железной дороге. «Золотое» сено получалось, но скот в засушливые годы чем-то надо было кормить.

Что помню я, и что обо мне рассказали ближние, родные

Бабушка рассказывала, что я родился в бане, на полке, в «рубашке». В предбаннике в это время находился «молодняк»: ягнята, телёнок. Их отлучали от матерей по двум причинам: во-первых, в пригонах холодно, во-вторых, взрослые могли затоптать малышом. Овца, например, не принимала чужого ягнёнка, отталкивала, иногда сбивая с ног, не своего детёныша. Их выпускали на «кормёжку» во двор к матерям на определённое время. Надо мной подшучивали, что я появился на белый свет, как Иисус Христос, в хлеве. Нет, условия моего рождения были лучше, чем у Христа.

Интересно, что мама вынашивала меня, что называется, до последнего. Восьмое марта – праздник. Село «гуляло». Моих родителей пригласили на застолье на соседнюю улицу. Мама отказалась, осталась дома, а отец пошёл отмечать праздник. Когда он вернулся, я уже появился на этот свет. Записали мой день рождения девятого марта, поскольку восьмого сельсовет, естественно, не работал, регистрировали меня уже после праздника.

Бабушка рассказывала и многое другое. Я был очень спокойный ребёнок. Не плакал, хорошо набирал вес. Однажды взрослые меня положили на кровать родителей, а сами что-то делали во дворе. Когда бабушка зашла меня «посмотреть», то ужаснулась: ребёнка на кровати не было! Украли! Со слезами вспоминали, кто и когда к нам приходил, а затем мама почему-то посмотрела под кровать. Там-то, в углу, спокойно спал

«украденный». Оказывается, кровать была немного отодвинута от стены, и вот в эту щель я и провалился. Главное, что всё это произошло без моих слёз, без шума.

Мама и сестра говорили, что, начав ходить, я обычно забирался на подоконник. У крестьянских изб широкие подоконники, а перед окнами во всю ширину комнаты стояла большая крашенная скамья. На ней можно было лежать, иногда гостям там и стелили постель на ночь. Забравшись на подоконник, стоя во весь рост, я часами мог смотреть на улицу и петь о том, что видел: проходящих людей, скот, повозки. Это устраивало всех: и меня, и родных, и гостей, – я никому не мешал. Вспомнил об этом через несколько десятков лет. Моя внучка говорила, что внук Андрей, когда к ней приходили подружки, уже невесты, как у нас говорят, пел в другой комнате караоке, не мешая им. Всё же по наследству кое-что передаётся.

Помню, как отца провожали в армию. На соседней улице собралось много народа. Стояла бричка с «драбками», набитыми сеном. Пара коней. Я держался за руку мамы. Немного прошли – и больше ничего! Мама, бабушка, сестра подшучивали надо мной, спрашивали, какой у меня папа. Я отвечал, что он смуглый, ну, такой, как рогач (ухват) или кочерга по цвету. Все смеялись. Я не помнил его. Почему? Не знаю, хотя все разговоры в семье были о нём, особенно когда приходили с фронта от него «треугольники»-письма: раньше ведь конвертов не было.

Мама кормила меня грудью не один год. Сестра смеялась: как только мама приходила с работы домой, я бежал ей навстречу, а после маминого молока снова шёл играть в прежние игры. Долго, как и сын, не мог оторваться от стеклянного пузырька с соской. Однажды упал, разбил пузырёк и оскол-

ком порезал кожу на лбу. Лет до пятидесяти этот разрез-полумесец был заметен.

Что ещё я помню из детства? Улица, песок, в котором мы копались по целым дням, Федю Добшика – подростка лет шестнадцати. Об этом следует рассказать, потому что это картина деревенской жизни во время войны. Интересно вспомнить также, что мы в то время знали три болезни: душнэ, огник и соешница. Улицы – сплошной чистый песок. Машин не было, лошадь в повозке – редкость. Мы копались в этом песке, что-то строили, спорили, играли. Иногда малыши наши двух-трёх лет там же и засыпали. Если случалась рана, например, разбитое колено или ещё что-то на ноге, то лучшее лекарство – засыпать ранку этим песком. Осложнений практически не было. Помню только, что, играя в прятки или в «догонки», я не смог остановиться и юзом «заехал» ногой под какой-то колхозный склад. Песок не очень помог, нога болела, и мне трудно стало надевать сапоги и ходить. А надо! Дети, кто постарше, ходили в конце лета в поле собирать колоски пшеницы, которые остались после уборки урожая.

История с Федей Добшиком – особая в моей детской биографии. Он был вполне взрослым в моих глазах. Работал конюхом. Огромная конюшня (клуня) с высокой крышей, крытой соломой, – постройка для загона. Фёдор иногда брал меня с собой как соседа: мы жили рядом, дома стояли друг против друга, только на другой стороне улицы. Брал он меня всякий раз при условии, что я буду делать то, что он скажет.

Парень он молодой, знал «толк» в любви. Ему нравилась одна из трёх сестёр, но они его не признавали как кавалера. Сестёр мама звала ласково: Катёк (Катя), Клашок (Клавдия) и Манёк (Маня). Вокруг конюшни раньше был забор. Его разо-

брали во время войны на дрова: выкорчевали столбы, на которых он держался, остались только глубокие ямы. Федя сажал меня в одну из таких ям, накрывал травой и по известному только нам сигналу заставлял кричать: «Клашок! Катёк! Манёк!», когда они проходили мимо конюшни. Тропинка в школу вела именно через этот двор, поэтому обойти нас ни одна из сестёр не могла.

Мои крики «Катёк, Манёк, Клашок» раздавались как бы из-под земли. Наконец, меня разоблачили, наверное, по голосу. Пожаловались маме. Она почти круглосуточно летом работала в поле, жила в бригаде. Прибегала только на час другой, чтобы принести нам кусок того самого белого, сладкого, как нам казалось, хлеба.

Мама написала отцу и поступила так, как он посоветовал: применила ко мне то самое «больничное наказание», о котором я писал ранее. По словам бабушки, это случилось так. После бани мама мне предложила сменить бельё. Когда снимали рубашку, я вёл себя спокойно, а когда добрались до трусиков, то, как рассказывала бабушка, «дитя стало плакать, кричать и посинило всё». Бабушка меня защищала, как могла, а мама сказала, что это мне наказание за дружбу с Фёдей Добшиком. «Если я ещё раз, – говорила мама, – увижу тебя с ним, то наказание больничное доведу до конца. И заступничество бабушки не поможет!»

Я уже писал, что летом мама работала в поле. Оставаясь с бабушкой, просил её слёзно отпустить меня к Фёде на минутку. Она позволяла, но на «одну минуточку», и больше моих криков «из-под земли» никто не слышал.

Теперь о болезнях моих односельчан. Все жили «кучно», двор ко двору, поэтому общались, как говорится, на всю де-

ревню. Все обо всех недугах знали, сочувствовали, помогали. «Душнэ» – это грудная болезнь, простуда, при которой трудно дышать, говорить и т.д. «Огник» – это внутренний жар. Говорили, что человек просто «сгорал». «Соешница» – это понос. Помню, как Одарка бежала к соседке и громко спрашивала, что с Наташечкой Билой. Ей отвечали: «Блюе и дрыще». Диагноз ставили молниеносно: «Соешница», – и рекомендации давались сейчас же.

Мальчишки не стеснялись своей плоты. Ходили на пресное озеро Круглое, километрах в трёх от села. На обед идти домой не хотелось, и мы ели «камышок», его корни, жарили лягушек (у них съедобные задние ножки), собирали дикую ягоду. Разумеется, всё делали «гольшом». Как-то Яшка (немец), с которым я дружил, стал бравировать своей плотью. Я взял рогатку, натянул и шлёпнул Яшку. Все испугались, поскольку мошонка его мгновенно вздулась, видимо, налилась кровью. К вечеру всё прошло, и испуг тоже.

«Дюдюнка». Я не выговаривал прозвище Минарченковых – Дюдюны. У меня в раннем детстве получалось «Дюдюнка». Это удивительная, добрая и любившая меня женщина. Она жила напротив нашего двора на другой улице. Её муж, работающий, огромного роста, умер от лопнувшего аппендицита, пока его везли в больницу, где должны были сделать операцию. Дюдюнка осталась с двумя дочерьми. Одна из них, примерно моего возраста, умерла в детстве. Очень талантливая была девочка. Лучше её, быстрее никто в нашем селе не бегал. Я дружил с нею и завидовал по-детски, поскольку не мог её догнать, когда мы играли.

Старшая пошла и в мать – была полная, и в отца – высокая и сильная. Она училась с моей сестрой в одном классе почти

все семь лет. У нас в селе была только «семилетка». Юмор Таси был весьма оригинален, чтобы не сказать более. Училась она плохо. Груша рассказывала нам удивительные её шутки. Вызвали Тасю к доске, она, естественно, ничего не знала. Доски тогда были передвижные, «на ножках». Ростом Тася была чуть выше доски. Когда учитель отвлекся, она обняла доску с одного края, приподняла юбку и похлопала по икре ноги, показывая отцовские подштанники. Весь класс умирал со смеху, а она скромно пыталась что-то написать мелом на доске. Геометрия для неё была источником шуток. Надо, например, ответить на вопрос, связанный с перпендикуляром. Она, как всегда, не знала ответа и несколько минут пыталась выговорить этот геометрический термин: «Пер-пен-перди-пердь-пен...». Класс умирал со смеху, а учитель отправлял её за парту. Раньше столов в классе не было, все сидели за партами. Ноги Таси под партой не помещались, поэтому она одну из них выставляла в проход между рядами. Как только учитель отвлекался от класса, она приподнимала юбку и хлопала ладонью по отцовским кальсонам. Были проделки и похуже.

Вспоминается случай, когда она уже вышла замуж, родила детей. Около её дома, на скамейке, обычно собирались соседки – поговорить, как это бывает в селе под вечер. Дела по дому к этому времени заканчивались, а до прихода стада ещё было время. Дети, чтобы как-то занять время, устраивали забеги-соревнования на выносливость. Дистанция большая, проходила мимо дома Минарченковых. Помню, как её сын – большой, неуклюжий, но сильный и выносливый парень – стал от этой группы ребят отставать. Таська стала его подгонять такими словами: «Ты что! Борщевик или не борщевик! Не ленись! Давай!». Володя оживлялся. Он бегал странно,

как бы загребая руками воздух. Так плавают вольным стилем. После такого крика Володя всегда приходил первым.

Тася вышла замуж за Левончука – одного из тех офицеров, которые прошли всю Европу, брали Берлин: щеголеватые, с подчёркнутой выправкой, забывшие свой деревенский говор, полные собственного достоинства. Тася часто подшучивала над ним. Поехали они вдвоём в город Павлодар. Пошли, как водится, по магазинам. Муж в одном из них стал рассматривать посуду. Как Тася рассказывала, он просил продавщицу показывать то одно, то другое. Когда ей всё это «выкаблучивание» надоело, она обратилась к продавцу: «Тётяшка, покажи ты ему вон ту хлебательную тарелку». Супруг выскочил из магазина и грязно, матерно выругался, а Тася улыбалась: шутка удалась.

Поехали в автобусе. Ноги устали в туфлях, Тася сняла их и блаженно вытянула ноги. В это время пассажирка, проходившая мимо, наступила ей на босую ногу, и Тася крикнула на весь автобус: «Ой, тётяшка, ой, пальчикек! Кляп твою ма!». А голос у неё был звонкий, дома её было слышно даже на следующей улице.

Наш зять Николай крыл крышу бани. С лесом, тем более пиломатериалом, было плохо, поэтому крышу заливали глиной, смешанной с соломой и коровяком, т.е. коровьим навозом. Тася стала проситься в баню, Николай ей возражал. Разговор закончился фразой Таси, которую долго повторяло всё село: «Заплыви ты коровьим гомном со своей баней!»

Может возникнуть вопрос, почему я так много пишу о своих земляках? Я рос среди них, поэтому во многом был таким же, как и они. Иначе и быть не могло. Всю свою сознательную жизнь я «изживал», как мне казалось, те недостатки, которые они во мне невольно заложили, сформировали или

что-то в этом роде. Главное, что каждый из них был личностью, они не походили друг на друга, и это меня до сих пор восхищает. Сейчас же мы какие-то все «одинаковые», зашоренные. В каждом из нас эта самая личность задавлена, если не затравлена. Мы всё время пытаемся на всех походить. Нет той раскованности, свободы, самобытности, если хотите. Может быть, это стариковское брюзжание, не спорю, но вижу, что это ненормально, что ли.

Баба Бойчиха. Макагон. Наташечка Била

Мы копировали взрослых. В нашем селе жили немцы – переселенцы с Волги перед войной. Всё это меня окружало, происходило на моих глазах, а нередко и при моём участии. Помню, как однажды днём, перебегая улицу, Бойчиха кричала:

– Кума, а кума (так она называла мою бабушку), дай мини березивочки (березивочка – это настойка на водке или на самогоне берёзовых почек).

– Дам, – отвечала ей бабушка. – Давай, где тебе помазать?

Бойчиха протягивала руку и не могла найти у себя порезанный палец:

– Чи цей, чи цей?!

В этом была вся баба Бойчиха. Говорят, что она была ведьмой: у неё было что-то вроде хвостика, поэтому в бане она мылась в углу, пряча таким образом спину. Раньше в бане мылись вместе, часто у соседей, если своей бани не было.

Умирала она тяжело, долго. Пришлось подымать верхний венец брёвен и вместе с ним крышу, якобы после этого она сразу успокоилась.

Что касается чужой бани. У Макагона добротная баня. Многие просились к нему, чтобы истопить баню и помыться. Он разрешал при условии, что всё время, пока будут мыться и париться женщины, он может лежать на полку. Соглашались, потому что он был слепой.

Меня Макогон всегда интересовал. Ходил по деревне сам, только с палочкой, которой всё время стучал по голенищу сапога. Почти не блудил. Я только в юности понял, что таким образом он, выбирая дорогу, использовал эхо: обратный звук от строений, эхо своих постукиваний по голенищу сапога.

Ослеп Степан, как говорили, переболев оспой. Слух у него был отменный, как и у многих слепых. Сход села собрался и купил ему баян, на нём Степан играл на многих деревенских праздниках, свадьбах, крещениях и т.д. Говорят, что он пошёл в отца. У них было хорошее хозяйство, и в страду нанимались работники, а их надо кормить. Когда работники собирались за столом, хозяин обычно обходил всех с куском сала и ножом, спрашивая: «Не хочешь сальца?» – и делал вид, что готов немного сала отрезать работнику. Нанятые, зная его прижимистость, всегда отказывались, отвечали: «Нет», а затем шутили между собой, показывая на пальцах: «Не хочешь сальца?!» Так эта притча сохранилась и за его сыном Степаном Макагоном, с которым я был дружен, но немного его побаивался. Бывал у него дома. Степан несколько раз женился. Однажды взял в жёны женщину с двумя девочками, одна из которых одного года со мной, другая – постарше. Видимо, она как-то наблюдала любовь взрослых, своей матери и Макагона. Однажды старшая затащила меня под лавку и пыталась скопировать то, чем занимались её мать и отчим. Так я получил первый опыт общения с женщиной.

Степан, как, видимо, и все слепые, своеобразно относился к окружающим людям. Когда моя сестра выходила замуж, он играл на свадьбе, сидя на припечке (выступе на русской печи). Как и бывает всегда на свадьбе, началась драка. Гость со стороны жениха – могилёвец – стал размахивать ножом и ранил одного гостя. Я сидел рядом с Макагоном. Степан выпил и расспрашивал у меня, кто и что делает. Затем отставил баян в сторону и стал просить меня подвести к буюну.

– Ты покажи, где он? Я ему вот так пальцами в глаза!!!

Как я понял, это было самым большим наказанием для разбушевавшегося гостя. Месть всем за свою слепоту, что ли? Он мог только так, а не иначе, поступить в эту минуту.

На селе так принято: когда кололи свинью, то хозяйка разносила по соседям «свежатину» – часть мяса забитой свиньи. Наташечка Била была блондинкой, поэтому ей и дали прозвище «Би́ла», то есть белая. Хитрая и умная женщина, она решила не выбрасывать так называемую «промежность» свиньи, а снести её Степану – всё равно слепой не поймёт. И он поразил меня в очередной раз, когда всё коварство Наташечки увидел «руками». Был скандал. Макагон вернул ей подаренную «промежность». Люди осудили Наташечку, но ненадолго – в селе одна новость «вытесняла» другую. И этот случай как-то забылся.

Мужчины проводили вечера за картами. Мы, подростки, учились у них и сами играли, но чтобы старшие (родители) не заметили. Нам играть запрещалось. Дети собирались в саманной избе Чёрной немки – так звали одну из переселенок перед войной из Поволжья. У неё было четверо детей: девочка и три мальчика. Один из них – Фридрих – мой одноклассник. Мы дружили. Его деревенские звали «Фичпай», имя «Фридрих» не прижилось. Он поражал своими выходками. Например,

ловил мух, топил их в своей чашке с борщом и ел. У нас муха вызывала только отвращение. Иногда мне казалось, что это Фичпай делает назло нам, забавляясь нашей реакцией.

Свадьбы всегда сопровождалась какими-нибудь запоминающимися выходками односельчан. На одной из них напоили самогоном кур. Наутро хозяйка вышла из дома и увидела по всему двору валяющихся кур, погоревала и решила хотя бы перо на подушки собрать. Но как только начала ощипывать первую из них, курица вдруг ожила и с кудахтаньем, подымаясь и снова падая, поскакала по двору. Испуг прошёл, а смеху на селе было много.

Школа

У нас в селе, как я уже упоминал, была только семилетка. Восьмые-десятые классы приходилось доучиваться в районе, в селе Ключи.

Первое, что я помню о школе, – это то, что меня за руку сестра вела в первый класс. На мне были белые носочки и коричневые сандалики.

В школе нас учили читать по слогам. Я не умел. Стихотворение либо другой текст, который нам задавала учительница на дом, я со слов сестры учил наизусть и только словами, а не слогами, читал в классе: «Из колодца вода льётся, знай качай, не забывай», а мне учительница говорила: «Из ко-лод-ца во-да льёт-ся, знай ка-чай, не за-бы-вай». Она и не догадывалась, что это стихотворение я выучил наизусть. Только к концу года с чтением у меня стало всё в порядке. Я научился читать слова полностью, а другие не могли отвыкнуть читать по слогам.

Учительница первая моя – Наталья Петровна, дочь Наташечки Билой. У неё была красивая фигура, высокий рост, добрая душа. Мы почему-то выделяли только её фигуру. Даже сочинили что-то вроде стихотворения: «Наталья Петровна – горбата, неровна». Мы ещё не умели ценить её грудь, попу и красивые длинные ноги. Всё это было хорошо видно через платье, облегающее её фигуру.

У меня первое время было плохо не только с чтением, но и с арифметикой. Итоговая (за год) контрольная по арифметике пугала не столько меня, сколько Ирину Петровну. Раньше школьники сидели за партами, часть крышки её открывалась на завесах. Вот на обратной стороне этой крышки Ирина Петровна и написала мне ответ на пример контрольной работы. Помню, что я никак не мог увидеть этот ответ: крышка парты была закрыта. Пришлось решать самостоятельно.

Со мной в школу пошли одноклассники со всего «крайка», среди них был Лёша Андреенко. Малого роста, ленивый, но находчивый, он всегда хотел быть «главным», что ему плохо удавалось. В старших классах он поражал своей находчивостью. Рассказывал нам, какие трусики носит учительница. Мы с ним сидели на первой парте, напротив стола учителя. Где-то в середине урока Лёша ронял на пол учебник или тетрадь и спускался под парту достать упавшее, а сам рассматривал цвет трусиков нашей учительницы. Позже я сидел за одной партой с Николаем Гордиенко. Читали вслух «Дубровского». Все петуховцы были помешаны на сооружении наганов, это обыкновенная, до десяти сантиметров, трубка, загнутая на конце. Внутри её насыпали головки спичек, затем растирали их гвоздём, также загнутым на конце. Оба конца соединяли резинкой. Если оттянуть гвоздь, а затем отпустить, получался маленький взрыв в трубке.

С таким «оружием» на уроке литературы и играл Гордиенко. Самое интересное, что, когда прочитали «Гром победы раздавайся», Николай нечаянно отпустил гвоздь, резинка сделала своё дело, и грянул выстрел. Учительница почему-то обвинила в этом меня. Я промолчал.

Математику нам преподавал перемещённый немец Пётр Петрович. Он, как нам казалось, был несколько помешан на теории тяготения и всё говорил, что тому, кто сможет предложить формулу этого явления, человечество поставит памятник. Очевидно, он имел в виду ньютоновскую теорию (закон) всемирного тяготения.

Как-то я стоял у доски, решал какой-то пример, класс громко рассмеялся. Пётр Петрович решил, что я рассмешил класс. Он вскочил со стула и бросился ко мне, полный гнева. Доска, отодвинутая от стены, стояла на ножках. Я спрятался за доску. Пётр Петрович побежал за мной и что-то кричал, пока я не выбежал из класса. Такая агрессия учителя вряд ли объяснима, если не иметь в виду, что он из волжских переселенцев, обиженный властью, и всё время от нас, русских, ждал каких-то неприятностей. Обида ли, самолюбие или что-то другое проявилось в нём в этот раз. Никаких дальнейших разборок у нас не было. К следующему уроку он взял себя в руки, а у меня к этому времени прошёл страх.

Позже я часто встречал у «русских» немцев резкие высказывания в наш адрес. Могу заверить, что мы в детстве и юности дружили с немцами. Не было различия в играх, кто немец, а кто – русский. Но старшие как-то сторонились нас, жили, особенно немки, своей замкнутой жизнью. Даже дома они строили «глухой стеной» на улицу, а не окнами, как русские. Матери запрещали парням общаться с русскими девуш-

ками. Достаточно привести один пример. Немец Яшка – так его звали на селе – влюбился в русскую девушку. Она ответила ему взаимностью. Мама Яшки сделала всё, чтобы свадьбы не было. Кончилось трагично. Яшка запил, опустился, но остался с матерью.

Мужчины дружили. Мой папа дружил с немцем Андреем Андреевичем. Ходили друг к другу в гости. На спор Андрей Андреевич сшил игрушечные сапоги с «одной голяшкой», т.е. на обоих концах голенища сработаны головки сапога, но без единого шва. Как он так стачал сапоги? Не знаю, но умелец он был отличный. Я дружил с его дочерью Верой и сыном Андреем.

Правда, неприятности были. Один из сыновей Чёрной Немки (так звали на селе смуглую женщину) был инвалидом. Она спрыгнула с печки прямо на ноги сыну и обе его ноги сломала. Ходил он на костылях. Парню было уже где-то за 18 лет. На селе жила семья из Костромы: мать с двумя дочерьми. Работать не хотела. Всё говорила, что она больна – у неё «опущение матки». Старшая дочь находилась на особом счету у мужчин. Иногда они устраивали на неё «очередь». Попытался пойти к ней и наш немец. Как рассказывали, она лежала на полу, раздетая, принимала парней. Когда подошла очередь инвалида, то она оттолкнула его ногой. Он вышел, взял большой ком снега и бросил в самое её интимное место. Наутро это было самой «горячей» новостью у односельчан.

Школьные годы описать трудно. Они «вспыхивают» в моей памяти как моментальные съёмки. Фотоснимки яркие, но отрывочные. Что я помню? Меня поражало отношение мамы к животным, которые её очень любили. Сирота Ярочка (овечка) и бычок-первогодок ходили за нею постоянно. Траву

(лебеду) косили на горчине – в топком месте, поросшем травой. И в это время они были рядом с мамой, зорко следили за ней, чтобы не отстать. Трава – травой, а дружба дороже пищи.

Совершенно потрясло, и не только меня, но и весь край, отношение мамы к поросёнку какой-то особой породы, абсолютно голенькому – без щетины. В холодные ночи он мёрз и постоянно пищал, да так громко, что не только нам, но и соседям порядком надоел. Чего только ни делала мама, чтобы он мог согреться: варила ему тёплую пищу в надежде, что у него появится достаточная жировая защита, готовила ему логово из соломы со специальной подстилкой, – всё не помогало. Тогда мама сшила ему своего рода «одежду»: кафтанчик из стёганой ткани, который покрывал не только спинку и брюшко, но и ножки. После этого он затих и больше не беспокоил ни нас, ни соседей. Всем стало интересно: почему наступила зима, а поросёнок молчит. И таких «чудес» у нас случалось множество.

На всю мою жизнь я запомнил большую грыжу у ярочки. Видимо, в табуне её боднула корова. Она ходила тяжело. Я всё время переживал за неё. Интересно, что такая же грыжа и с того же самого бока образовалась у меня уже в зрелые годы после неудачной операции. Смешно? Но такие совпадения были в моей жизни довольно часто. Я, например, знал, что с возрастом у меня начнутся проблемы с ногами, нередко чувствовал, что сейчас ко мне кто-то придёт и даже иногда – что он скажет. После я об этом буду писать подробнее, а сейчас вновь о школьных годах.

Мама не училась даже в церковно-приходской школе. Девочкам ученье не позволялось. В годы войны, году в 1942–1943, её назначили заведующей молочной фермой. Надо вести учёт получаемого ежедневно молока, поголовья, приплода, кормов.

Для этого выдавались типовые специально отпечатанные бланки. Мы заполняли их вместе. Так она постепенно и научилась грамоте, стала обходиться без моей помощи. А я так увлёкся этими занятиями, что носил бланки в парусиновом портфеле вместе с книгами (учебниками), тетрадями и чернильницей с ручкой (перьевой). Мои одноклассники знали, что замок на моём нагруженном-перегруженном портфеле плохо закрывался, не держал. Нередко кто-нибудь из моих одноклассников подкрадывался ко мне и бил ногой по портфелю. Под оглушительный хохот портфель открывался, и его содержимое разлеталось в разные стороны. Я очень бережно собирал всё, не оставляя ни одного бланка, не говоря уже об учебных принадлежностях.

Писали, за неимением бумаги, на газетах, из которых сшивали что-то подобное тетради. Не было и чернил. Их делали из сажи, которую растворяли в воде. Чернильницы у нас были из стекла либо глины, так называемые «непроливайки». Конечно, такие чернила нередко пачкали руки, содержимое портфеля, но это воспринималось как неизбежное зло: иначе нельзя, невозможно. Перьевые ручки цеплялись за газетную бумагу, в чернильницу попадали мухи, поэтому кончик пера приходилось «приводить в порядок» кончиками пальцев; они всегда были в «чернилах».

Где-то в пятом-шестом классе я начал «запоем» читать и что-то записывать, например авторов и наименования прочитанных книг. Появилась тяга к рисованию. Когда представилась возможность покупать краски, цветные карандаши, стал рисовать. Хорошо копировал картинки мой товарищ по школе. Я им всегда восхищался. Может, поэтому и сам стал рисовать. Вся кухня была увешана моими рисунками. Это были портреты писателей. Рисовал тайком и портреты Ленина и

Сталина. Прятал их, потому что нам это делать запрещалось. Помню большой (20 на 40 см) портрет Салтыкова-Щедрина. В нём меня привлекала благородная внешность, строгий вид. Бабушка никак не могла запомнить его фамилию и всякий раз, любуясь портретом, а делала она это искренне, называла его «Слаква-Слаква». Сколько я ни бился, запомнить его фамилию она так и не смогла.

Был у нас иконостас, оформленный надлежащим образом: божница, вышитые рушники, лампадка. Иконы писаны по дереву, очень старые. В некоторых местах краска поблекла. Я тайком решил «исправить» теряющие вид иконы. Подкрашивал их, стараясь подобрать краски ближе к подлиннику. Бабушка, конечно, заметила изменения в иконах и решила, что они (их лица) обновляются сами по себе. Обновление наших икон стало достоянием крайка. Особенно поразило оно бабу Бойчиху.

Да, ещё о рисунках и рисовальщиках. Когда я «заболел» рисованием, приехал из города сын бабы Бойчихи. Видимо, чтобы оставить память о себе, стал рисовать на полотне большую картину, точнее, копировать: «Иван-царевич и серый волк». Я был зачарован его умением. Он преподавал мне несколько уроков, в частности копирование подлинника посредством клеток. Подлинник делился на клетки, а на полотне либо на бумаге размечались более крупные клетки. Рисунков как бы сам собою «вырастал».

Это умение рисовать мне «дорого» стоило. Сестра вышивала гладью. У неё это получалось. А потом она решила вышить большой ковёр, где-то 1,5 на 2 м. Вышивать она решила павлина. Конечно, птица это красивая, но сколько красок было у него только в хвосте! Вот мне и пришлось сидеть за этим рисунком не один день, а мои товарищи резвились на воле. Лето было.

Что ещё запечатлелось в моей памяти? До школы я невольно стал душегубом. Зимой парни ловили решетом снегирей. Большое решето, которое использовалось для «подработки» (просеивания) зерновых, ставили на колышек, к которому привязывали длинную верёвку. Под решетом рассыпали зерно. Прятались и ждали, когда снегири зайдут под решето, чтобы поклевать зерно. Кто-то дёргал верёвку, колышек выскакивал, решето закрывалось. Птиц таким образом и ловили. Однажды кто-то из парней дал мне в руки («сжалился») снегиря и сказал: «Держи крепче, чтоб не улетел». Надел мне варежку вместе со снегирём на руку и отправил домой. Сколько же было слёз, когда дома обнаружилось, что я так сжимал птичку, что она умерла.

Хорошо помню и ещё одну сцену. Вижу себя как бы со стороны. К слову, это качество пригодилось мне и в работе. Я мог читать лекцию и видеть себя «со стороны». Это хорошо помогало контролировать себя. Мне лет восемь-девять. Лежу я на кровати и вижу, как красными пятнами покрываются мои ноги, затем живот, и думаю, что сейчас эти пятна «поднимутся» к моей груди, к сердцу, и наступит смерть. Она меня не пугала. Я мысленно прощался с родными и... ждал конца. Со стороны это покажется смешной выдумкой подростка, но это было серьёзно, очень серьёзно. Я не боялся смерти и спокойно готовился к ней. Правда, было обидно умирать таким молодым. Но это воспринималось как неизбежность. Может быть, проявился мамин характер. Она – самобытный философ. Смерть, в отличие от папы, воспринимала как вполне обыденное событие. Отец, напротив, боялся даже говорить о смерти, и мама часто «подтрунивала» над ним, заявляя, что хочешь-не хочешь, а умирать придётся. Папа сердил-

ся и говорил: «Прекрати, перестань. Слышать не хочу про это разговоры!».

Жили они дружно. Помню, у нас был большой (2 × 3 м) сундук («скрыня») с большим внутренним замком, огромным чугунным ключом. Когда скрыню открывали, замок издавал какой-то мелодичный звук. Цвет у сундука был слоновой кости. На нём можно было лежать. Родители нередко располагались на скрыне. Мама сидела. Отец клал голову ей на колени. Она чесала ему волосы. Картинка эта была для меня незабываемой. Я часто вспоминал об этом «видении». Словами сложно передать всю теплоту, взаимопонимание, любовь родителей.

С рисованием у меня случались и другие «напасти». В школе поручили написать красиво на большом листе плотной бумаги призыв прийти всем на выборы. Я написал. Красиво. Красками. Особенно выделил день выборов: «воскресение» вместо «воскресенье». Сняли, но не ругали.

Помню первую школьную любовь. Белокурая, с пышными волосами девочка, из могилёвцев. Сестра понимала это и хотела, чтобы мы подружились, но она сторонилась меня, а затем родители её увезли куда-то в Казахстан.

После окончания семилетки мои ровесники собрались ехать в Киселёвск (Кемеровская область) поступать в Горный техникум. «Загорелся» и я. Победила мама, которая запретила мне и думать об этом. Так я поехал в село Ключи поступать в восьмой класс Ключевской средней школы. Это были годы юности, удивительные, незабываемые, полные открытий самого себя, любви и счастья, смуты и обретений, потерь и находок.

Папа был демобилизован в 1943 году по многочисленным ранениям, о которых я уже писал ранее. День его приезда хорошо помнится. Мы (я и бабушка) сидели в прихожей. Я за

столом делал уроки, а бабушка чистила свёклу. Во дворе раздался какой-то крик. Бабушка недовольно проговорила, что вот, опять бабы сошлись и «дуреют», т.е. громко говорят и смеются. Через некоторое время в прихожую заходят отец и мама. Что тут было – трудно пересказывать. Волнение нас охватило такое, что даже утром мы не могли найти свёклу, которую бабушка чистила перед приходом родителей.

Учёба в Ключах для меня была школой самообразования. Я понимал, что получить в школе то, что помогло бы мне «уйти» от петуховской жизни, привычек, особенно языка, невозможно. Поэтому, отсидев положенное число уроков, много читал, ходил в библиотеку района, приставал с расспросами к родным и близким.

Жил я в доме Александра Шапоренко, двоюродного брата отца, его сына Ивана, жены дяди – тёти Моти и жены Ивана – Марии. У них в это время уже родился сын Володя. Я постоянно «приставал» к Ивану Александровичу с вопросами о произношении слов, ударений и т.д. Помню, когда я ему порядком надоел, он сказал, что мне лучше слушать радио: диктор всегда правильно говорит и верно делает ударение. Действительно, дикторы радио при советской власти были эталонами в произношении. У них многому научился.

Семья Шапоренко «удивительна» во всех смыслах. Дядя – высокий, громкоголосый. Тётя – сама учтивость. Не ругалась, не сердилась «вслух». Советы её были просты и искренни. Помню, у дяди остановились карманные часы. Тётя посоветовала смазать их гусиным жиром, но они, естественно, не пошли. Тогда он «в сердцах» бросил их к порогу. Тётя Мотя молча пошла, подняла их и вдруг закричала: «Саша, часы пошли!». Смеялись все.

Иван Александрович – единственный сын, вырос в любви и роскоши, не зная ни в чём отказа. У него появился удивительный по тем временам мотоцикл – трофейный «Харлей». Гонял он на нём днём и ночью, и трезвым, и пьяным. Помню, как-то он пригласил меня на поиски этой машины. Ехал по глинистому шоссе, мотоцикл «снесло» в кювет, залитый дождевой водой. Да так, что его даже не было видно. Мы прибили к длинной «жердине» гвозди и стали таким образом вытаскивать мотоцикл из кювета. Такой картины я больше за всю свою жизнь не видел.

Иван Александрович заведовал районо в Ключах. Человек он был действительно одарённый: читал со сцены как ведущий вечеров в клубе собственные стихи, играл на целом ряде музыкальных инструментов (аккордеон, духовые). Пел со сцены. Его частушки быстро расходились по селу, их пели, смеялись. Я помню одну из них: «Выйдут на крылечко Кекин с Кукаречкой – сразу жизнь становится иной...». Кекин и Кукаречко – два соседа средних лет, очень «полные», малоподвижные, своеобразные богатыри. Когда жена одного из них изменила с соседом, то случилось почти невероятное: их не могли «разделить». Обиженный муж погрузил злополучных любовников на ручную тележку и отвёз через всё село (3–4 км) в районную больницу.

Вскоре «Харлей» заменили первым «Москвичом». Это «чудо» очень походило на автомобиль, высоко посаженный на рессорах. И надо же было так случиться, что проезжал он мимо жены заведующего районной больницей. Остановился, предложил ей сесть в свой «Москвич». Женщина была «дородная», где-то за сто килограммов. Когда она села, рессора автомобиля не выдержала нагрузки. Так у него случалось нередко, умел и всегда хотел «похвастаться», подчеркнуть свою галантность.

Как-то Тётя Мотя (она часто делилась со мной семейными тайнами) сказала мне, чтобы я спросил у Ивана Александровича, почему у него лицо расцарапано. Я по наивности выполнил её просьбу. В это время Иван Александрович колот во дворе дрова. Он пытался мне объяснить, что, когда колешь дрова, летят щепки. Вот они и попали ему в лицо. Когда я сказал об этом тёте, она улыбнулась и «поведала» мне, что лицо ему расцарапала жена Мария, которая застала его с учительницей немецкого языка, когда вечером он через окно (дома в районе у нас были одноэтажные) пробирался к учительнице в комнату. Мария, очень красивая высокая брюнетка, была хороша фигурой, отлично танцевала, но уже не первый год не могла поступить в Славгородское педучилище. Одним словом, разумом Бог не наделил. Но гонора у неё, как говорят, было «выше крыши».

Я только сейчас начинаю осознавать в полной мере свой характер. То, что я позволял себе в эти три года учёбы в Ключах, конечно, кроме как своеволие, оценить нельзя. Учился хорошо, отлично. Но вёл себя очень вызывающе. Один день в неделю разрешал себе всё, что мне нравится, спускал себя, как говорится, с тормозов. Для меня в это время не было ни нравственных, ни физических границ.

Помню, приехал отец в Ключи и пришёл на урок попристутствовать. Естественно, меня спросили, я ответил. Всё вроде бы прошло вполне прилично. Но в перерыве (на перемене) отец спросил меня, почему я не сижу, как все ученики. Сидел я действительно не так, как все. Повернул стул так, чтобы спинка была у меня под мышкой. Я ответил отцу, что мне так удобно сидеть, но пообещал больше этого не делать.

Я не давал покоя сидящему впереди меня Толе Марченко. Тщедушный, умный, очкастый мальчик всё терпеливо пере-

носил. Однажды я потянул его за ворот рубашки и испугался, да и не только я. Толя начал терять сознание, «засыпать». Хорошо, что нашёлся сидящий со мной Гриша Гончаренко. Он тихонько привёл толчками Толю в чувство.

Гриша был необыкновенный подросток. Он считал себя взрослым. Планировал свой день. По вечерам подводил итоги выполненного, делал соответствующие выводы. Мне всё это казалось смешным. Я подтрунивал над ним, а он воспитывал меня, всякий раз выговаривая мне за мои выходки. Говорил, что всему этому его научил старший брат. Он родился в Каипе. Село находилось рядом, в 12 км от наших Петухов. Из этого же села учился с нами другой мальчик, Левыкин, какой-то наш родственник. Ему отец подарил карманные часы, которые он носил в переднем кармане брюк, как мы говорили, в пистончике. В течение урока я неоднократно приставал к нему с просьбой сказать, который час и сколько ещё длиться уроку. Он с трудом вытаскивал обеими руками часы, пистончик всякий раз трещал, а мы все дружно улыбались. Левыкин был небольшого роста, учился плохо, едва успевал, и мы к нему соответственно относились.

Судьба у нас троих сложилась своеобразно. Гриша стал заведовать какой-то базой в селе Родино. Левыкин позвонил мне лет через сорок, увидев передачу по телевизору, где я выступал в качестве эксперта по принятому Трудовому кодексу Российской Федерации. Жил он в Омске, но так и не рассказал мне о себе. Из разговора я понял, что он жизнью своей доволен, рад за меня и т.д.

На уроках я спорил, не соглашался с учителями, классными руководителями. Помню, на уроке обсуждался роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Учительница по литературе,

как и всегда, разделила героев романа на «плохих» и «хороших», подчеркнув, что Бонапарт – это антигерой и т.п. Я к этому времени прочитал книгу Тарле о Бонапарте и выступил с весьма необычным для тех дней заявлением, что Бонапарт – гений, и стал доказывать это. Представьте себе реакцию нашей учительницы по литературе. Это была высокого роста женщина, очень похожая на цыганку: длинные чёрные волосы, карие глаза, своеобразные жесты. Надевала она всегда зелёную вязаную кофту со следами работы у плиты. Масляные пятна, поношенная и не очень чистая одежда подчёркивали её сходство с цыганкой. С цыганским темпераментом она стала доказывать, что я ошибаюсь, что гений и зло несовместны. Но класс поддержал не её, а меня. Это грустная история: я ведь хорошо понимал, но не смог уступить учительнице, остановиться, не подрывать её авторитет, а после урока извиниться за своё нетактичное поведение. Но ничего подобного ни тогда, ни после я не сделал. Это какая-то черта характера, которая мне самому не нравилась.

Ещё ужаснее я поступил со своей любимой девочкой, которая училась в соседнем классе. Мы любили друг друга. Она – искренне, я – потому, что она была красивее всех, как говорили. Мне не раз те, кому она нравилась, угрожали расправой. Однажды в саду, у районной библиотеки, где мы с Ниной встречались, несколько здоровых парней «припёрли» меня к ограде сада, и началась «разборка». Я до сих пор не могу понять, как она, хрупкая девочка, «перемахнула» через полутораметровый забор и привела нашего одноклассника – старшего годами, сильного, высокого. Так я вышел (вывели меня!) из конфузной ситуации, избежать которой без побоев и синяков я, конечно, не мог.

В школьном театре ставили «Цыган» А.С. Пушкина. Нина играла Земфиру. Без зазрения совести я увёл её из зала до начала постановки, и мы провели вечер в доме её родственников, которые ушли к знакомым. Шум среди учителей был невообразимый. Вынесли мою выходку на педсовет и уже готовили решение об исключении из школы. Заступилась за меня преподаватель химии. Я любил органическую химию. Любил формулы, понимал. Пытался сделать что-то своё, собирал под её руководством какой-то прибор. Не знаю, что она говорила на педсовете, но меня оставили в школе.

Наши отношения с Ниной развивались стремительно. Раньше любовь была большой загадкой, тайной, непонятным влечением друг к другу, мы всякий раз открывали то неведомое, чего не знали и иногда даже не желали. Помню первый поцелуй. Это сейчас все всегда и почти со всеми, по поводу и без повода, целуются, признаются в любви. Чего-то требуют друг от друга. Мы спрятались в тени деревьев в палисаднике какого-то дома. Вечерело, но я хорошо видел её глаза, губы, лицо, фигуру. Она прижалась ко мне, и наши губы как бы сами собой соприкоснулись. Описать своё состояние я не берусь, но волнение действительно охватило меня, и этот момент не передать словами – все они только принизят, обесценят его. К десятому (выпускному) классу наши отношения как-то иссякли, если можно так сказать. Особенно трудным для нас стал выпускной вечер. Пришли все на озеро. Прохладно. Нина бросилась купаться. Этот её поступок был той самой крайней чертой в наших отношениях. Я ушёл, а затем уехал в Петухи, домой. Она дважды приезжала в село, жила в доме напротив нашего. Встретился я с нею только в поезде, когда ехал поступать в институт. Нас в купе было четверо,

все свои, все знали о наших отношениях. Но «контакта» так и не получилось. Вечером, когда Нина уснула на верхней полке, юбка открыла её ноги, её прекрасные ноги, чуть выше колен. Всем было неловко, но делали вид, что не замечают. Я встал и поправил ей юбку, считая это своим долгом, видимо, что-то ещё теплело в моей душе. Первая любовь не уходит бесследно, как мне тогда казалось.

Через десять лет, когда я приехал в Ключи как прокурор следственного отдела Алтайской краевой прокуратуры, она пришла ко мне на приём, в рабочей одежде, пополневшая, мать двоих детей. Долго рассказывала о своём несчастливом замужестве, о муже, который её обижал, не в силах простить любовь ко мне. Жалости во мне не было, но и любовь не шевельнулась, не вернулась из прошлого. Мне было неловко. Не помню, что я говорил, но не хватило сил подойти, обнять её, сказать что-то хорошее из прошлого. Позже я всегда осуждал себя за это.

В летние каникулы готовился к поступлению в Томский электромеханический институт – филиал Ленинградского вуза. «Заболел» телемеханикой. Это было ново, необычно – управлять подвижным составом на железной дороге, как говорили, из кабинета.

Приехал. Устроился в общежитие. Прошёл медицинскую комиссию. Пошёл на первый этаж умываться. «Умывальник» общий: несколько кранов холодной воды, общая, длинная во всю стену вешалка для одежды. Повесил полотенце. Пошёл умыться, а когда вернулся, полотенца своего я не обнаружил. Народу много, и кто-то взял моё, «шикарное» по тем временам, подаренное мамой полотенце, оставив какой-то замызганный клочок, «огрызок» своего. Что я пережил в это время,

трудно передать словами. Но это какой-то знаковый момент в моей жизни.

Рядом с институтом университет (ТГУ). Как я попал в гуманитарный корпус, не помню. Меня интересовал историко-филологический факультет. БИН – так называли этот корпус. На первом этаже красовался плакат о приёме на первый курс экономико-юридического факультета. Я познакомился с программой. К моему удивлению, на этом факультете изучались интересные мне дисциплины, в том числе история. На старших курсах, наряду с юридическими дисциплинами, студенты изучали историю древнего мира, средних веков, современную историю России, политические учения, философию, политэкономиию и др. Это все те знания, которые меня интересовали всегда, потому что я чувствовал свою ущербность в общем развитии. Петухи – это Петухи. Я благодарен им за то, что они мне дали, а ещё больше за то, чего я там не мог почерпнуть, узнать, понять и, тем более, принять. Дитя степей и солёных озёр. Для души, её становления, если можно так сказать, это – главное. Я с такой душой, миропониманием, точнее, восприятием окружающего меня мира прошёл всю жизнь. Видимо, так и оставался легкомысленным ребёнком.

Поступил, точнее, сдал все экзамены на «отлично» я довольно легко. Мужчины, уже отслужившие в армии, волновались. Один из них в перерыве между вступительными лекциями спросил меня, поступлю ли я, ведь это трудно! Ответ мой его поразил: «Конечно, поступлю, а иначе зачем мне было сюда ехать?». Он махнул рукой и отошёл от меня, такого уверенного и легкомысленного.

Лектор меня поразил. Мужчина высокого роста. Трибуна ему была явно низковата, её верхний срез едва доставал ему

до гольфика. Он склонялся над кафедрой всем телом так, что я всё время ждал, как бы он не упал. При этом лектор выбрасывал куда-то в аудиторию руку и повторял, чтобы мы не судили его строго, поскольку он «увлекается». Я хорошо помню эту «картинку», но не содержание лекции.

Сдавали мы экзамены по русскому языку и литературе письменно и устно (разбор предложения), истории, иностранному языку (немецкий) и географии. Немецким языком, точнее, его знанием я поразил экзаменатора, поскольку мог с ним поддержать беседу, ответить на все вопросы. Всё это не моя заслуга, а моей учительницы. Она, как только начинался урок, вызывала меня к доске и задавала текст на русском, а я должен был его перевод написать на немецком.

С преподавателем истории случилось «нечто». После моего ответа на вопросы билета, когда она уже выставила оценки, спросила, откуда я, где учился. Когда узнала, что в селе Ключи, спросила, кто был моим учителем истории. Я назвал имя своей учительницы, и преподаватель неожиданно призналась, что это её сестра. Что это – совпадение? Принимали экзамен несколько преподавателей истории.

Преподаватель географии задал мне дополнительный вопрос: какой горный хребет есть в Америке? Я ответил, что Кордильеры в Северной Америке. Он, улыбаясь, спросил, что, может быть, я назову и их верхнюю точку? Я сказал, что не знаю, не помню.

Вывесили приказ о зачислении. Узнал, что зачислен на первый курс экономико-юридического факультета. Вышел из здания университета, за университетскую арку, и вдруг из-под солнца «посыпал» мелкий тёплый дождик. Я всегда во всём искал какие-то знаки. И этот дождь мне сказал о многом,

о моей будущей учёбе в университете им. В.В. Куйбышева, что расположен на проспекте Тимирязева. Современники этого не помнят. Его переименовали в проспект Ленина.

Конечно, среди поступающих было много случайных людей: хулиганов, шутников, «себе на уме». Они зачастую плохо знали, что преподавали в средней школе. Абитуриенты жили в больших комнатах, где стояло по десять и более кроватей. На дверях нашей комнаты в верхней части дверного проёма был какой-то карниз. Весельчаки поставили на него банку с водой и верёвочкой и прикрепили её к дверной ручке. Все ждали, чтобы посмеяться. Но дверь открыл проректор по учебной работе университета. Всех нас, в том числе и его, просто парализовало. Так я впервые испугался в университете.

Перед началом учебного года у себя в кабинете нас собрал декан. Каждого он спрашивал: «Кем ты хочешь работать?». Отвечали почти одинаково: следователем, прокурором, судьёй. Когда же подошла моя очередь, то я сказал, что хочу быть юрисконсультom. Как на меня кричал декан, не могу забыть. Он говорил, что суд и прокуратура нуждаются в кадрах, а он, то есть я, хочет быть юрисконсультom! Честно признаться, я и сам толком не знал, кто такой юрисконсульт. В университет поступил только с одной целью – получить хорошее гуманитарное образование.

Университетские годы

1954 год. Первый год обучения в Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева на экономико-юридическом факультете. Учился с удовольствием, прилежно, с явными

успехами на семинарских занятиях. К концу года простудился и сильно заболел ангиной. Гланды – это моя беда в юности. Простывал часто. Болело горло. Температурил безбожно. Так случилось и в первую сессию.

Поправившись (лечился я красным стрептоцидом), решился на операцию. Меня госпитализировали. Городская больница, стационар на пр. Ленина, где-то рядом с Домом профсоюзов, позже я это здание не нашёл. Но с этим стационаром у меня связаны особые, если можно так сказать, воспоминания. Палата большая, нас лежало в ней человек восемь. В день операции меня утром накормили. Как только пожилая женщина-врач начала операцию, меня, естественно, вырвало, и я забрызгал ей очки. Наутро она сказала на осмотре, что, как ни странно, но у меня всё хорошо. Это удивительно, потому что, по её словам, операцию она делала наощупь, ничего не видя. Чем запомнилась мне эта операция? Пожалуй, только одним. Пожилая женщина-хирург во время операции пела блатную песню: «Из проулка пара показалась. Не поверил я своим глазам. Шла она, к другому прижималась, и уста скользили по устам» и т.д.

После операции некоторое время меня держали (наблюдали, лечили) в стационаре. На другой день к нам положили молодого паренька, разговорчивого еврейчика. Он достал нас расспросами об операции, и один из больных пошутил в разговоре с ним, что бывают и смертельные случаи. Например, когда перед операцией делают укол, человек мгновенно «сгорает». Появляется жар во рту, потом – во всём теле и, как доходит до сердца, наступает смерть. Еврейчик присмирел, замкнулся. На следующее утро, перед операцией, ему сделали тот самый укол, который обычно делает медсестра. Мы все замерли в ожидании реакции еврейчика. Он открыл рот, стал

задышаться и кричать, что умирает. Палата всё это наблюдала с улыбками, а бедная медсестра испугалась, видимо, подумала, что ввела ему в вену какое-то другое лекарство.

На семинары и экзамены я не ходил неподготовленным. Всегда, как мне казалось, всё хорошо знал. Утром мы (комнатой) шли в столовую завтракать. Ели. Глядя на нас, Толя Карманцев – мы его звали на английский манер Покинцевым – не ел, его чуть ли не рвало. После завтрака я шёл в кино (это было обязательным), затем обедал в столовой и приходил на экзамен последним.

Мы сдавали экзамен по организации суда и прокуратуры. Я, как обычно, сходил в кино, затем отправился в столовую, чтобы пообедать, и почему-то (я никогда этого не делал!) взял бутылку пива «Жигулёвское». В то время эта марка была лучшей. Выпил. Вдруг в столовую забегают девочка из нашей группы и кричит, что мне срочно нужно отправляться на экзамен, так как уже зашёл последний студент. Состояния своего в этот момент никогда не забуду. Я опьянел. Слабый организм, измотанный сессией (это был последний экзамен), дал о себе знать. Можно только представить состояние студента, который до этого спиртного в рот не брал. Не знаю, заметил преподаватель, или не заметил, или сделал вид, что не заметил, моё состояние!

Лекции всегда конспектировал. Внимательно слушал преподавателя. Учебников в то время было мало. Помню, что Виктор Никитич Петров, преподаватель по трудовому праву, приносил нам на семинар Кодекс законов о труде Российской Федерации как какую-нибудь реликвию. Показывал, подчёркивая, что это для него дорогое приобретение.

Одна женщина воспользовалась тем, что не было учебной литературы. Она пришла к нам на факультет, расположилась

в деканате и стала собирать деньги на учебники. Поверили, сдали – и больше мы её не видели, не говоря об учебниках. Так нам, будущим юристам, был преподан первый урок – встреча с преступницей. Хорошее начало профессиональной карьеры!

Готовясь к семинарам, я всегда пытался понять прочитанное, выработать, если можно так сказать, своё отношение к нему. Мы конспектировали «Капитал» К. Маркса два или три раза. Мне нравился его анализ, особенно стремление чисто социальные явления выразить в виде формулы. Я так увлёкся этой его идеей, что искал формулы даже там, где их не могло быть. Семинары по политэкономии вела молодая красивая девушка, видимо, аспирантка. Я выходил к доске и начинал излагать «Капитал», прибегая к формулам. Преподаватель не соглашалась со мной, спорила, но доказать, что я не прав, не могла. Студенты во время моего ответа обычно отдыхали, поскольку я мог говорить на заданную тему семинара и час, и два. Однажды, слушая меня, она заплакала. Для меня это было неожиданностью. С тех пор за мной закрепилась кличка «критик Маркса».

Меня, естественно, интересовало гражданское право. Изучая его, надо было думать, уметь применять закон, делать конкретные выводы. На гражданско-правовом цикле всегда были лучшие студенты, а на уголовно-правовой шли более слабые. Мы их презрительно называли «уголовниками». Преподаватели меня как-то выделяли. Я был старостой кружка по гражданскому праву, возглавлял научное студенческое общество.

Как-то для проведения очередной конференции я не мог найти свободной аудитории. Обратился к своему куратору – доценту А.Л. Ремонсону, очень интересному человеку. Мою проблему он решил довольно быстро и уже через пару дней

сказал, что для конференции снял читальный зал Научной библиотеки ТГУ. Зал рассчитан на сто-сто пятьдесят посадочных мест, а на конференции должны выступить два десятка студентов. Пришлось самому найти аудиторию. Наш куратор был человек науки, увлекающийся, бескорыстный. Во время призыва на целину он решил ехать осваивать новые земли в Казахстан. Одежда в фуфайку, сапоги и отправился с вещмешком на вокзал. Едва его вернули, но шума было много.

Со «странностями» были не только преподаватели, но и студенты. Я, например, писал свою первую курсовую работу на тему «Строительство социализма в Монгольской Народной Республике». Надо мной подшучивали, но меня действительно интересовало, как от феодализма можно сразу перейти в социализм.

Меня увлекала идея – угадывать мысли собеседника. В разговорах всякий раз одна и та же мысль повторялась, следовательно, именно в этой плоскости и проявлялся, точнее, должен был проявиться человек. Читал много, фантазировал, пытался писать. Кончилось тем, что я живых людей стал путать с вымышленными мною героями. Испугался, как бы не сойти с ума. И прекратил эти занятия.

Среди моих товарищей было много интересных, своеобразных личностей. Так, Юра и Миша, не буду называть их фамилии, мечтали разбогатеть: арендовать самолёт, привезти с Кавказа лавровый лист, чтобы в Томске выгодно продать. Юра женился на дочери председателя богатого колхоза. Он был «падок» на женщин, привлекателен, близорук. Мы его брали с собой, когда не могли достать билеты в кино. Он бросался в толпу ожидающих сеанса и вскоре приносил нам билеты, естественно, проданные ему женщинами. Жена, а может быть,

и тёща знали эту его «слабость». Она сыграла с Юрой злую шутку. Две недели после свадьбы Юра не приходил к нам в общежитие. А когда пришёл, мы его с трудом узнали: похудел, небрит, неразговорчив. Кое-как мы его «разговорили». Он признался, что жена постоянно требовала от него секса, да по нескольку раз в день. Поневоле у Юры выработалось «своеобразное» отношение к женщинам. Он их стал опасаться: может быть, и все они, как его жена? Странностей в студенческой жизни много. Чего, например, стоили «выходки» Альберта Петелина! Немец из Омска, светловолосый, высокий, очень практичный. Например, он отказывался идти на экзамен, пока мы группой его не накормим. Денег от стипендии до стипендии ему не хватало.

После второго курса я вернулся домой в Петухи и обнаружил, что к нам «на квартиру» мама пустила какую-то девушку. Она якобы приехала на практику в нашу больничку. Это очень неприятное известие для меня: ехал отдохнуть, а тут квартирантка. Недовольство постепенно улеглось. Квартирантка оказалась милой, умной девушкой. По крайней мере, мне не мешала. Мы как-то сблизились. Она из города Красноярска, училась в медицинском институте. Распределили её в Ключах не в Петухи, а в Ново-Полтаву, но она уговорила девушку, которая должна была ехать в Петухи, поменяться с нею селом. Так Людмила Фёдоровна Поробейкина и оказалась в доме моих родителей.

С нею со временем стало легко общаться. У нашего зятя был мотоцикл «ИЖ», и мы нередко ездили на нём за деревню, на озеро, а однажды и в Ново-Полтаву, где я познакомился с её подругой. Весёлые, интересные и очень уж худые девочки, но довольно милые. Невольно наша дружба переросла в любовь.

После каникул мы переписывались. Десятки и сотни писем. В одном из них она писала, что мальчики ей надоедали своими предложениями дружбы, поэтому ещё до знакомства со мной она всем сказала, что у неё есть парень, он учится в Томске на юридическом. Что это? Как она могла предвидеть, что любовь её именно в Томске, и это – будущий юрист?

Случайность? Возможно. Но таких случайностей в моей жизни было достаточно много. Поэтому невольно поверишь в провидение, судьбу, что-то заранее данное, объективное, что ли. В Бога я не верил. Бабушка, как я уже писал, была глубоко верующим человеком. В детстве она мне говорила о Боге, отмечали церковные праздники. Я не мог понять, кто такой Бог. Спрашивал, думал. И однажды мне приснился сон. Я уже писал о солёных озёрах. В то время они были полноводные, с крутыми берегами. Под одним из них, который виден из деревни, появился во сне маленький старичок с бородой и добрыми глазами. Я понял, что это Бог.

Семья у нас, за исключением бабушки, была атеистической. В Бога не верили, по крайней мере в молельный деревенский дом (а такой существовал и при советской власти, конечно, подпольно) мы не ходили. Когда бабушка приглашала маму, она, я запомнил, ответила: «Что я там не видела? Полная изба народу. Не дай Бог, кто-нибудь к этому удушью ещё и воздух испортит. Бог у меня здесь», – она показала на грудь в области сердца. Правда, икону она сохранила и даже привезла с собой ко мне в Томск, организовала уголок, где её (икону) повесили, и, видимо, молилась. Вот и рассуди, кто из нас верующий, а кто – атеист!

Люда была старше меня, и это её очень смущало. Но связь наша оказалась, видимо, сильнее. Я приезжал к ней в Красно-

ярск. Останавливался у них на квартире. Одноэтажный деревянный дом. Красивое парадное крыльцо выходило прямо на центральную улицу Карла Маркса. Люда жила с бабушкой. Маму её погубила красота. Мужчин она меняла, как перчатки, и, наконец, один из них увёз её на Кавказ, приучил к наркотикам. Вернулась она домой уже больным человеком, требовала от Люды уколы с какими-то обезболивающими лекарствами. Так долго продолжаться не могло. Люда её определила в стационар, где ей провели специальный курс лечения.

Меня поразило отношение Люды к матери, которая причинила ей столько зла. Она же говорила, что какая ни есть, но всё-таки – моя мама! Правда, глядя на мать, твердила, что никогда не будет такой, как она. Не будет!

Практику на четвёртом курсе я проходил с ребятами из нашей группы в прокуратуре города Красноярска. Нас было человек шесть-семь. Собирались у родителей нашего однокурсника, Резинкиных, которые там жили. Помню гостеприимность хозяев. Длинный стол, а может, и два, сдвинутых вместе и застеленных скатертью. На одном конце стола – порезанная селёдка, на другом – варёная картошка, а где-то в середине – хлеб, водка. Люда и я сидели в середине стола, так что дотянуться до селёдки и картошки было неловко.

Тостов было достаточно. Люда не пила, и меня заставили пить и за неё. Одним словом, когда мы вернулись домой, то меня «развезло» окончательно, поскольку до этого я водку не пил. Когда подошли к парадной двери, я, как джентльмен, решил первым открыть эту громадную дверь с вычурной медной ручкой. Случилось так, что, рванув на себя ручку, я оказался где-то посреди проспекта, поскольку рука оторвалась от ручки. Люда искренне смеялась. Она вообще была очень смешли-

вой девочкой и, кажется, сказала, что для первого знакомства картина была чудесной.

Проходил я практику в прокуратуре Железнодорожного района города Красноярска, о которой слышал столько историй, что о них нельзя не рассказать хотя бы вкратце. Первое, что меня поразило – это то, что прокурор своим постановлением этапировал из Белоруссии собственную жену, которая его оставила. Не знаю, что руководило им: любовь, месть или и то и другое. Не менее интересен и состав следователей. Совершилось страшное убийство. Подозрение пало на группу парней. Улик почти не было, а они не сознавались в совершённом злодеянии. Тогда следователь-женщина, имени которой я уже не помню, пошла на хитрость, которая, по моему мнению, была противозаконной, что ли. На допросе она каждого из подозреваемых спрашивала, не обратили ли они внимание на глаза убитого – ведь они были открыты. Подозреваемые, видимо, припоминая, соглашались, что глаза у убитого были открыты. Следователь, не моргнув глазом, поясняя, что преступники зафиксировались в глазах убитого, и экспертиза это подтвердит. Лучше заранее чистосердечно признаться – это зачтётся на суде. И убийцы сознались.

Я как стажёр принимал участие и в других следственных действиях. Ходил на допросы в тюрьму. Пропуском был вкладыш в студенческий билет. Однажды этот пропуск я куда-то засунул. Как известно, у мужчин много карманов. Пытался на выходе «ребятам» это объяснить, но они без вкладыша выпускать меня не стали. Комичная, но не только, ситуация. Через некоторое время я вкладыш всё-таки нашёл.

На четвёртом курсе моего обучения в университете мы поженились. Свадьба была «классическая» русская, но без драки.

Дядя Люды, окончательно опьянев, уронил голову лицом в тарелку с винегретом. Пили, пели, желали, как и на любой русской свадьбе.

На четвёртом курсе многое произошло, о чём следует упомянуть. В это время (1958 г.) было очень престижно работать в Комитете госбезопасности СССР. Будущих выпускников пригласили в комитет на беседу. Мои сокурсники «ринулись» все и разом. Правда, Миша Шапошников, будущий председатель Кемеровского областного суда, и я не хотели идти. У меня в это время было что-то вроде простуды: красный, мокрый нос. Но Миша уговорил меня пойти вместе со всеми. Основной аргумент – это прочесть анкету поступающего, которая содержит более ста вопросов. Я согласился. Анкету мы заполняли, как говорится, шутя. На вопрос: «Хотите ли вы работать в Комитете госбезопасности», – мы, улыбаясь, сделали прочерк. Затем прошли медицинскую комиссию и, честно признаться, через некоторое время, спустя месяц-полтора, я уже и забыл об этом своём «приключении». Стою я в коридоре, в корпусе, который мы называли «БИН». Это здание рядом с библиотекой ТГУ. По коридору не идёт, а почти бежит наш декан, Андрей Иванович Ким, и на ходу «бросает» странные слова: «Галушка, Галушка (это будущий председатель ФСБ при Б.Н. Ельцине). У него что-то нашли в носу! Ковалёв! Ковалёв (будущий председатель КГБ в Кемерово). У него, видите ли, давление! А у этого ничего нет! Здоров!»). Через несколько минут меня пригласили к декану. У него сидел незнакомый мне человек, одетый в гражданскую форму, который и предложил мне работу в КГБ, назначил встречу с председателем. Объяснил условия работы и даже показал дом, в котором мне дадут двухкомнатную квартиру. К слову говоря, у нас

преподаватели жили в одной комнате в общежитии, даже семейные, конечно, не все.

Я позвонил Люде и рассказал ей о предложении. Она согласилась. Из дома получаю письмо. Мама, чуть ли не в слезах, спрашивает меня: «Володя, что ты наделал? Приезжала из района комиссия, спрашивали всех о тебе, даже соседей».

Оказывается, перед тем как пригласить работать в комитете, они меня тщательно проверяли. Думаю, не только меня, но и других сокурсников. На эту работу в то время брали только тех, кто не имел на своей биографии даже пятнышка. Так я много узнал о себе. Смешно и грустно. Жизнь, что называется, была хороша, жить спешил. Не было времени себя как-то оценивать.

Это было время Н.С. Хрущёва. Каждое утро мы, просыпаясь, обсуждали новые нормативные акты (юристы ведь!), рядили-судили о будущем. Хрущёв всё реформировал и реформировал. Он «слил» КГБ и МВД (Министерство внутренних дел). Начались черед перестановок в этих органах и, естественно, сокращение штатов. Мне предложили поехать в Киев или в Минск в школу по подготовке, как я шутил, «шпионов». Люда сказала очень важную фразу, которая во многом определила мою, ну и, естественно, нашу общую дальнейшую судьбу. Она сказала: «Поезжай! Но я с тобой в казарму не поеду!». Я отказался от распределения. Мне выдали документ, позволяющий самому выбрать работу там, где я захочу. По совету Жени Тихонова, моего друга, который учился на курсе годом младше, мы выбрали город Барнаул. Он сулил мне всяческое содействие, поскольку там у него друзья в прокуратуре и т.д.

И тут началось самое интересное в моей жизни. Я так устроен, что верил в хорошее. Мы с Женей носили один и тот же джемпер, ведь с одеждой было не очень хорошо, но на это

мало кто обращал внимание. Всех одолевало не материальное. Отъезд из Красноярска после окончания университета – это целая трагедия. Но об этом позже.

Мне хотелось бы рассказать о том, как меня и Люду встречали после четвёртого курса в Петухах. Такой свадьбы я не видел раньше и не знал, что мои земляки на такие выдумки «горазды». Столы ломились от еды. У русских закускам уделяют особое внимание. Накануне готовили. Подключилась к этим приготовлениям и Люда. Особенно поразили всех голубцы. Зять вообще не хотел отдавать их гостям. Смешно вспомнить: он так их полюбил, что «извёл живот», и не без греха. Обьелся и некоторое время провёл не за столом, а в туалете. Смех и грех.

На свадьбу пришло много земляков, приехали родственники. Среди них оказалась и та самая Мария Моисеевна Шапоренко, жена Ивана. Описать свадьбу как-то сразу и, что называется, «целиком», одновременно невозможно, поэтому я остановлюсь на некоторых эпизодах. Мария Моисеевна удивила всех. Она начертила на земле (во дворе) четырёхугольник и разделила его на четыре части. В каждой из них едва умещалась ступня ноги. Ей налили рюмку водки «до краёв». Она поставила её себе на голову и начала танцевать, но так, чтобы не задевать границы четырёхугольника, начерченного ею на земле. Удалось – на удивление всем. При этом под ноги она не смотрела. Затем стали «топить» маму в корыте для водопоя скота. Надо выручать, «откупаться». Я бегал к «извергам» с водкой. Иначе они маму не отпускали. А в это время уже «вешали» отца.

Папу с верёвкой на шее привязали к колодезному «журавлю», где подвешивали груз, и стали тянуть, т.е. опускать бадью в колодец. Пьяным – море по колено. Смотрю – петля уже за-

тягивается на шее отца. Бегу от мамы «выкупать» отца. Затем в дом стали затягивать лошадь. Опять надо «откупаться» и т.д.

Но самое интересное наступило, когда Люду попросили на круг. Гости расступились, и получился вполне приличный круг. Я смутился. Она – и вдруг плясать под гармонь! Откуда всё взялось! В руке у неё вдруг оказался платочек, и она плавно, словно лебедушка, буквально поплыла по кругу. Гости? Что гости? Все стояли с раскрытыми ртами. Было много прелестных «выходок» гостей, но это мелочи: тосты, выкрики, пожелания, подарки. Всего и не перечесть!

А теперь вернёмся к той самой трагедии, на которой я остановился перед описанием петуховской свадьбы.

Моя тёща была не только красивой, умной, но и практичной женщиной. Как она рассудила? Зять – будущий прокурор. Дочь – врач-офтальмолог, специальность в то время очень редкая. Как говорил мой отец, желая подчеркнуть «хорошую жизнь»: «Не жизнь, а малина в бороде».

Но всё сложилось не так, как спланировала тёща. Мария Фёдоровна не ожидала, что мы уедем. Но мы уехали. Дали Жене Тихонову в Барнаул телеграмму о нашем приезде с просьбой нас встретить. Он не встретил! Мы остановились в гостинице крайкома КПСС – там оказалась свободная комната – и решили пройтись по городу. Проспект Ленина – центральная улица. Она разделена довольно широкой аллеей на две части. Клёны, которыми она обсажена с двух сторон, буквально сплетались у нас над головами. Солнце, тепло, молодость, счастье быть вместе – это всё, что я помню. И вдруг навстречу идёт мой «друг» Женя с женой. Всё как в романе: разойтись нельзя и не знаешь, что говорить. Разошлись, но это была, что называется, «картина маслом».

Прокуратура

В прокуратуру я пошёл на следующий день утром. У заместителя прокурора по кадрам уже были мои товарищи по выпуску. Они, в отличие от меня, приехали по распределению. Прошу обратить внимание на то, что парень я был самоуверенный и достаточно рисковый. Сказал заместителю прокурора по кадрам, что могу остаться у них работать, если мне, точнее, нам, предоставят жильё. С этим самым жильём, как я уже писал ранее, всегда были проблемы: его не было даже у тех, кто уже не первый год работал, и не только в прокуратуре. Услышал отказ. Откланялся и вышел из кабинета.

Несколько слов о самом здании прокуратуры Алтайского края. Раньше это помещение являлось женским монастырём. Капитальное, величественное, из красного кирпича, обнесённое высоким кирпичным забором. Огромный двор. Величественные ворота, правда, от них осталась только арка, самих ворот уже не было.

Не успел я дойти до ворот, как меня окликнула моя сокурсница, попросила вернуться. Видимо, они что-то обо мне рассказали заместителю прокурора края по кадрам (Бердоносову). Когда я вошёл вновь в его кабинет, он сказал, что у прокурора Железнодорожного района есть какая-то комната, и направил меня к нему.

Так начиналась совместная «взрослая» (самостоятельная) жизнь. Определили меня стажёром следователя. Прокурор района, Фролкин, принял хорошо. Сразу же началась «эпопея» по предоставлению мне комнаты. Она оказалась самовольно занятой какой-то продавщицей. Надо её выселять. Вместе с участковым мы ловили её несколько раз утром пе-

ред работой, а когда встретили, то началось то, чего мы не ожидали. Она выскочила на улицу, стала кричать и разбрасывать документы, которые у неё оказались с собой. Утихомирили, забрали ключ от комнаты, вселились.

Эта комната – лучшая в моей жизни. На первом этаже кирпичного дома, с высоким потолком, огромным окном – комната, полная света. Квартира трёхкомнатная. В других двух комнатах вместе с нами жили милые, интересные люди: работник милиции с полноватой, миловидной, говорливой женщиной и семья тёти Сони: сын, невестка и внук-грудничок. Кухня – большая, на три стола, и мы друг другу не мешали.

Прожили мы там, на Гоньбинке – так назывался район Барнаула, – что-то около двух лет. Этот район, когда меня перевели в следователи, был моим районом. В прокуратуре работали три следователя, поэтому Железнодорожный район разделили на три участка. Мне достались железнодорожный вокзал, несколько городских улиц и та самая Гоньбинка, где мы поселились. Гоньбинка – от слова «гоньба» – так назывался тракт, который выводил из города. Район этот – самое «злачное» место для тех, кто не ладил с законом.

Тётя Соня «знала» всё, что «творилось» на моём участке. Первое время я верил всем её сообщениям: там и тогда кого-то убили либо ограбили и т.д. На поверку всё обычно оказывалось домыслами и вымыслами пожилых женщин, которые собирались на пустыре и торговали всякой всячиной. Дома я никаких разборок и объяснений с тётёй Соней, естественно, не допускал.

Люда определилась с работой. Краевой окулист была еврейкой. Люда – черноглазая, с чёрными курчавыми волосами,

контактная, внимательная – показала, видимо, этой краевой начальнице еврейкой. Её направили работать в краевой госпиталь по обслуживанию участников Великой Отечественной войны. Он находился рядом с прокуратурой, где я работал.

Работа в прокуратуре – это то, что сейчас называют «ни в сказке сказать, ни пером описать». Поэтому я приведу отдельные примеры, которые, надеюсь, прольют свет на меня и, может быть, не с лучшей стороны. Прокуратуры Железнодорожного и Октябрьского районов располагались в одном здании, поэтому все мы дружили, жили как бы одной семьёй, не делились по районному признаку. Молодые, энергичные, юморные. Один из нас, следователь Октябрьской прокуратуры Сушенцев, обладал даром подражания. Мог говорить, как любой из нас, и даже как прокурор края.

К концу месяца обычно «запарка». На расследование уголовного дела отводилось два месяца. Итоги подводились в последних числах месяца. Если в производстве у следователя двадцать дел, то невозможно своевременно нумеровать страницы, подшивать документы и т.п. Особенно такой нерасторопностью отличался один из нас, Корончик. Мы решили разыграть его. Сушенцев голосом прокурора края позвонил ему и велел через час с рядом дел быть у него с докладом. Мы же собрались в его кабинете и мешали Корончику сосредоточиться, собраться, подготовиться к докладу. Комизм этой ситуации передать словами нельзя, но надо было как-то держаться. Остановили Корончика уже у дверей, на выходе из прокуратуры. Он долго не мог понять, чего мы от него хотим и почему не отпускаем к прокурору края. А когда до него, наконец, дошло, ругался, смеялся и обещал «отомстить».

Таких случаев было много. Помню, первого апреля я передал своему соседу по кабинету «телефонограмму» о том, что ему необходимо явиться к первому секретарю КПСС Железнодорожного района с докладом по конкретному делу. Над рассказом Постнова мы «животы рвали». Столько было смеху! Он рассказал: «Захожу в кабинет к секретарю и докладываю, что я по его приглашению прибыл. Он спокойно отвечает, что меня не приглашал. Я стал говорить о телефонограмме, пытался показать ему дело. Он только улыбнулся и спросил, какое сегодня число. Когда я ответил, что первое, секретарь сказал: “Вот видите, сегодня первое апреля, известный День смеха!” Если бы я застал тебя по возвращению в прокуратуру, то, наверное, убил бы!».

В прокуратуре и милиции меня дразнили «адвокатом». Именно дразнили. В то время всю «цвёл» обвинительный уклон: привлечь, посадить и т.п. Иногда я, как говорили мои товарищи по милиции, «разваливал дело». Они этого искренне не понимали. Приведу два примера. Заведующий складом, очень авторитетный в своём кругу и у начальства человек, был привлечён к уголовной ответственности. В это же время по данному делу в тюрьме уже сидел человек, якобы совершивший кражу из этого склада. Фабула дела банальна. Склад «стоял» на опорах, т.е. был высоко посажен над землёй. В полу был сделан выпил, и через него, как нам объяснил заведующий складом, преступникам удалось вынести готовой одежды на огромную сумму. После обнаружения этой кражи наша доблестная милиция решила устроить засаду. В ограде склада, у дыры в заборе, через которую ходили желяющие, сделали засаду: поставили мешок с вещами со склада и стали ждать. Мимо проходил человек, который

решил поинтересоваться, что это за мешок. Его и задержали. Но это было бы полбеды. На земле, под складом, в районе выпила пола, был обнаружен отпечаток брюк именно из такого материала, как у задержанного.

Первое, на что я обратил внимание, – это небольшой вырез досок в полу и огромная сумма недостачи у заведующего складом. С целью исключить симуляцию кражи и узнать, откуда сделан вырез – изнутри или снаружи, – я назначил экспертизу. Заключение оказалось однозначным: доски выпилили изнутри склада. Склад хорошо охранялся. Проникнуть в него, как и утверждал заведующий складом, можно только через выпил в днище (полу). Версия симуляции кражи стала основной. И действительно, «хищение» товаров со склада – это попытка заведующего складом скрыть огромную недостачу.

Когда я приехал в тюрьму с постановлением об освобождении из-под стражи задержанного, он не поверил. Этого, по его мнению, не могло случиться: задержан, что называется, с поличным, да ещё и отпечаток брюк на земле под спилом. Не верили мне первое время и в милиции. Приходилось «бороться» и с советскими, и с партийными органами, несмотря на то, что я сам был членом КПСС.

Припоминается дело о привлечении к уголовной ответственности заведующего столовой ПТУ – учебного заведения, очень известного в Барнауле. Это училище не один год «держало» первенство по социалистическому соревнованию в районе, завоёвывало переходящее Красное знамя как его победитель.

Мне неоднократно предлагали (рекомендовали) прекратить это дело. Приглашали вместе с прокурором в горком КПСС и «разъясняли», что я подрываю соцсоревнование, его основы и тем более результаты. При мне выговаривали

прокурору района, что он плохо у себя поставил воспитательную работу, и предлагали ему воздействовать на меня. Дело было завершено производством, затем затребовано в краевую прокуратуру, где мне также советовали его прекратить. Оставили в покое, когда я заявил, что это вы можете сделать сами, а я так поступить не могу.

Случались дела ещё интереснее. Так, по Рубцовскому тракторному заводу, который в то время в полном смысле этого слова гремел на всю страну, возбудили уголовное дело по хищению запасных тракторных частей (деталей). Председатели колхозов такие хищения «поставили на поток». Под стенами заводской ограды делали подкопы, чтобы выносить запчасти, а в городе «держали» в штате специальных работников, которые заказывали и поставляли с завода похищенные детали. Замолчать это было нельзя. По данному делу мной были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых несколько председателей колхозов. Среди них были орденосцы, два Героя Социалистического Труда. Естественно, что этим расследованием заинтересовался крайком КПСС. Первый секретарь крайкома (он был депутатом Верховного Совета СССР и даже ведал одной из его комиссий) прямо на обвинительном заключении написал собственноручно, чтобы председателей колхозов не привлекать к уголовной ответственности и в отношении них уголовное преследование прекратить. Я отказался.

Вместо наказания меня пригласил начальник следственного отдела прокуратуры края и предложил перейти на работу старшим следователем краевой прокуратуры. Эта новость вызвала среди моих товарищей-следователей целую бурю эмоций. Оказалось, что среди них была определённая очередь на попадание в старшие следователи краевой прокуратуры.

Я был самым молодым среди них и не знал этого правила, о чём прямо и заявил им: если бы мне это правило было известно, то я бы отказался от такого предложения.

Быть женой следователя – незавидная участь. На самом деле, когда я дежурил по городу, за мной ночью приезжали неизвестные работники милиции и иногда надолго увозили. Это зависело от времени, необходимого для осмотра места происшествия. Как-то после отпуска мы пошли погулять в парк Меланжевого комбината. Весело, солнечно, тепло. Вокруг красиво одетые, весёлые молодые люди. Улыбки, смех. К нам подходит группа молодых людей и с искренним удивлением говорят, что меня убили, а я оказался жив. Люда заплакала, и мы пошли домой. Такие случались дни отдыха.

После осмотра места происшествия я первое время приносил домой вещдоки – вещественные доказательства. Среди них и верёвки, на которых мы обнаруживали уже мёртвых людей. Когда Люда узнала об этих вещдоках, то строго наказала их домой не привозить, поэтому после осмотра я их отвозил в прокуратуру. Однажды, уже около двенадцати часов ночи, приехал с вещдоками в прокуратуру, чтобы закрыть их у себя в сейфе. В крайнем кабинете заметил свет. Удивился. Не утерпел. Зашёл в кабинет и увидел смешную, но только для меня, картину. Следователь Боря Колб, выпускник юридического факультета МГУ, допрашивал молодую женщину, направив на её лицо настольную лампу. Я попросил женщину выйти и объяснил Боре, что если явится её муж и изувечит его, то это будет по заслугам. Вообще, Боря Колб – явление уникальное. Если мы, точнее, каждый из нас, имели в производстве два десятка дел (у меня, например, однажды было двадцать восемь), то у Бори – одно-два, и то без надежды соблюсти двухмесячный

срок расследования. Дела он тщательно подшивал, скреплял нитью, которую на последней странице опечатывал, а на бумаге, которая стояла над печатью – это обычно небольшой бумажный кружок – писал Б.И.К., то есть Борис Иосифович Колб.

Мы замечаем, охотно рассказываем о странностях других людей, забывая, что и мы не идеальны. Сейчас, оглядываясь назад, вижу себя самонадеянным, «всё могущим», нетерпеливым субъектом. Например, когда мне было необходимо провести по делу экспертизу, то эксперты должны были сделать её срочно, вне всякой очереди, иначе без скандала не обойтись. Мне многое прощалось: молодой, симпатичный, улыбчивый следователь. Что с него можно взять? Не обижались. Но и их недостатки я скрывал от начальства, и это, видимо, ценилось.

Вспоминается одно дело. Мужчину сбил автомобиль и переехал его. Когда из милиции ко мне поступило это дело, я обратил внимание на плохо сделанный снимок отпечатка протектора колеса этого автомобиля на теле погибшего. Была зима. Пришлось делать эксгумацию трупа.

Когда труп привезли в морг, раздели и стали проводить его осмотр, то я попросил молодого мужчину – эксперта-криминалиста – сделать снимок отпечатка протектора на теле трупа сверху. Поставили стул. Эксперт вместе с фотоаппаратом взобрался на стул, и тут я заметил, что он падает. Подхватил, привёл в чувство. Он действительно от увиденного стал терять сознание. Пришлось самому взбираться на этот стул и делать снимок. Конечно, о случившемся я никому не сказал. Правда, это было в присутствии понятых, поскольку необходимо составлять протокол об эксгумации.

Мы всегда либо почти всегда замечаем слабости других, но это не заставляет нас увидеть нечто подобное в себе.

В каждом человеке можно найти что-то хорошее, иногда плохо заметное, скрытое. Не лучше ли обратить внимание именно на хорошее, поощрить, хотя бы выслушать.

Я не могу забыть дело Лиличенко и братьев Коиновых. Это была настоящая, хорошо организованная банда, орудовавшая в районе железнодорожного вокзала, и на их счету не только грабежи (изъятые у них часы исчислялись десятками), но и изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Лиличенко – человек недюжинной силы, ловок, нагл, самоуверен. Он, например, на повороте догонял трамвай, раздвигал руками двери, заходил, ударом кулака сносил пластиковую крышку кассы (раньше в трамваях было самообслуживание: заходишь, опускаешь монету в щель этой крышки, отрываешь билет и едешь), выгребал из неё накопившиеся деньги. Затем так же, как входил, руками разводил в стороны двери вагона и выпрыгивал на ходу.

Я как следователь работал с ними три месяца. За такой срок обычно налаживаешь доверительные отношения с преступником. Это мне удалось и с Лиличенко. Он с гордостью говорил, что меня должны наградить за привлечение его к уголовной ответственности. Когда я объяснил, что за продление срока расследования меня не только не наградят, но скорее накажут, он не мог в это поверить. Следователь разоблачил его, Лиличенко, – и вдруг накажут! Постепенно он мне поверил, стал откровеннее. Однажды, на очередном допросе, стал изливать душу: рассказывать о том, что и он делал добрые дела, даже говорил как-то эмоционально, видно было, что в нём проснулся человек чувствующий, переживающий, жалеющий себя.

Вот тогда я понял, что в каждом человеке, даже разбойнике, всегда можно найти что-то хорошее. Своим товарищам

по работе, ученикам я всегда говорил, особенно когда между ними назревали неприязненные отношения: «Найдите в нём что-то хорошее, что скрыто, и именно эту черту выделите, похвалите. Поверьте, что этот “нелюбимый” станет вашим другом, если ему об этом напоминать почаще».

Мы были молоды. Этим всё сказано. Осенью Люда забеременела. Своё состояние она переносила достаточно легко. Никаких отклонений от обычного, работала до последнего, как говорят. Я уже писал, что наши места работы были рядом. Однажды в рабочий день она приходит ко мне и говорит, что воды отошли. Я её не отвёз, а отвёл в роддом. Роды, как она мне говорила, прошли легко. Десятого августа у нас родился сын. В первой записке из роддома она писала, что сын родился светловолосым, с голубыми глазами, а ко дню выписки я получил записку уже другого содержания: волосы тёмные, глаза карие. После я шутил, что моей силы хватило только на одну неделю. Имя мы ему дали Боря, Борис.

Уже через пару недель Люда вышла на работу, опасаясь, что глазное отделение без неё «пропадёт», как я шутил. С сыном нянчился в основном я сам. Спал с краю кровати, моментально просыпался, когда слышал голос сына. Маму мы жалели. Она работала на полторы ставки. Уходила рано и приходила уже после восьми часов вечера. Одним словом, работала с утра до вечера, от восьми до восьми. Правда, её увозили и привозили на больничной «Волге». Сын, как только научился говорить, звал меня «папа-мама». В это время я уже перешёл работать преподавателем на Барнаульский юридический факультет Томского университета. Сам переход – это целая история.

Прокурор или преподаватель?

Очень скоро, уже через три года работы в прокуратуре, мне стало понятно, что моё «серое вещество» на три четверти не работало. Ведение дела (расследование): разговоры (а не допросы) со свидетелями, обвиняемым, экспертами, – осуществлялось почти на рефлекторном уровне. Так, видимо, «умирает», а не совершенствуется в своём деле профессионал. Всё изо дня в день однообразно, хорошо усвоено и ... скучно. Очень часто всё делается на «автомате», естественно, исключая «эффекты Узнадзе», когда сталкиваешься с чем-то необычным, неожиданным, выходящим за известные тебе рамки.

Всё это побудило меня задуматься о перемене профессии. Люда, будучи фанатично преданной своей офтальмологии, меня поддержала. Если бы не её разум, поддержка, моя судьба сложилась бы совсем иначе. Был бы в прокурорской системе, может быть, и известным юристом. Недаром же я в три года прошёл путь от следователя прокуратуры района до старшего следователя, прокурора следственного отдела прокуратуры Алтайского края.

Появилась тяга к науке. Только она помогла мне выйти из состояния, в котором я оказался, и попытаться реализовать, как говорят в молодости, свой «интеллектуальный потенциал». Это было и смешно, и грустно. Мама говорила мне: «От добра добра не ищут». А я пошёл искать. В это время мои учителя пригласили меня в Томск преподавать трудовое право. Обещали комнату в общежитии, хотя у нас уже была двухкомнатная квартира рядом с работой Люды. Поэтому предложенный нам томский вариант отпал сам собой.

Как я уже писал, в Барнауле открылся Барнаульский юридический факультет Томского госуниверситета. Прокурор края не отпускал меня и даже не хотел ничего слышать на этот счёт. Тогда я решился на авантюру. В Москве проходил очередной съезд КПСС (Коммунистической партии Советского Союза). Мне удалось уговорить молоденькую симпатичную телеграфистку дать на съезд телеграмму следующего содержания: «Хочу работать преподавателем Барнаульского юридического факультета ТГУ, но из прокуратуры меня не отпускают. Нарушается моё право на труд. Прошу мне помочь».

Реакция не заставила себя ждать. Несколькими днями ранее я ходил по кабинетам крайкома КПСС, и меня не хотели слушать. Помню, меня принял секретарь крайкома КПСС по промышленности. Милый, внимательный, вежливый человек, выслушав меня, подвёл к окну своего кабинета и спросил: «Что ты видишь?» Я видел на другой стороне проспекта Ленина гастроном и ресторан «Алтай». Он, заканчивая наш разговор, сказал: «Работай там, где ты работаешь. Прокурор края тебя ценит и не отпускает. Чтобы усмирить себя, перейди через дорогу и напейся. Как-никак, а разрядка!»

А уже на следующий день меня пригласил инструктор крайкома и блестяще разыграл ситуацию. Он позвонил прокурору края, включил громкую связь и сказал ему: «Есть мнение Лебедева Владимира Максимовича отпустить для работы на юрфаке». Прокурор буквально заверещал в трубку (кстати, его фамилия была Верещагин), что Лебедев – ценный работник, что он очень нужен краевой прокуратуре и т.д. Инструктор спокойным голосом сказал, точнее, повторил, что есть мнение меня отпустить. А дальше всё уже было похоже на водевиль.

Прокурор края стал убеждать инструктора в том, что он этого сделать не может, а потом попытался вместо меня попросить квартиру. С жильём в то время было плохо.

На следующий день я получил трудовую книжку с записью, что меня переводят на работу в БЮФ ТГУ. Обучение на факультете было вечерне-заочным. Поэтому в течение дня мы оставались с сыном наедине. Как только вечером Люда возвращалась с работы домой, и мы (Борис обычно был у меня на руках) открывали ей входную дверь, он бросался к ней и, не давая снять шубу (если это было зимой), обнимал её за шею, а от меня отворачивался. То ли уставал от отца за день общения, то ли любил её больше, хотя днём постоянно называл меня «папа-мама».

Рос он в «тепличных» условиях, в любви и заботе. Очень стеснялся гостей. Если кто-то приходил, он брал меня за руку и уводил в другую комнату. Долго не мог расстаться с бутылочкой, из которой его поили молоком. Смешно было наблюдать, как он, играя, занимался каким-нибудь делом, а соску всегда держал в губах, и мы не могли его отучить от неё.

На кухне у нас была плита, которая топилась дровами, углём, т.е. всем, что горело. Мы решили показать Борису, что бутылки с соской больше нет, она сгорела. Подвели его к плите, Люда взяла у него пузырёк с соской и сделала жест, что она бросила его в огонь. Боря поверил. Он стоял около открытой дверцы плиты, смотрел на огонь и молчал, но из его глаз по щекам покатились несколько удивительно больших слезинок. Картина была незабываемая и, главное, с неожиданным результатом. Больше о пузырьке с соской он не вспоминал.

Мы купили сыну детский стульчик, очень красиво отделанный и раскрашенный. Когда по телевизору начиналась

детская передача, он усаживался на стульчик и смотрел. Однажды мы услышали, как он заплакал. Стали выяснять, почему. Оказалось, что вместо детской передачи шёл какой-то другой, видимо, очень важный материал. Боря плакал и говорил: «У них сахара не хватает!» Мы, прикармливая его сладким, всякий раз говорили, что это необходимо для его развития, взросления, чтобы он рос умным и крепким. Поэтому именно так он оценил интеллектуальные возможности редакции телепрограмм, решил, что у них сахара не хватает вести передачу, как объявили раньше.

Каждое лето мы приезжали всей семьёй к родителям в Петухи. Они ждали нас. Это был праздник. Люде, как лучшему главному хирургу, городскому окулисту, секретарю сессий краевого совета, выделили вне очереди автомобиль – «Москвич-412». Я к тому времени закончил автошколу и имел права на управление автомобилем.

К слову говоря, обучение в школе мне запомнилось так ярко, как будто это было вчера. Инструктор – пожилой мужчина – учил нас водить автомобиль почему-то на грузовике. Легковую машину, «Волгу», доверяли не всем, устанавливали очередь, которая была «бесконечной». К тому же с ней произошла история, похожая на анекдот. Инструктор всё время говорил сидящему за рулём ученику: «Дожимай, дожимай!» Он имел в виду рукоять (рычаг) передачи. Когда он неоднократно повторил этот призыв одной из учениц – женщине «дородной» и, очевидно, сильной, то она, «дожав», сломала рычаг передач и под общий смех отдала его инструктору.

Машин в нашей (моей) жизни, как и квартир, было много: два «Москвича-412», KIA, НИССАН, РАФ-IV (две), их мне помог купить уже сын.

С машинами на дороге у меня «получалось» хуже, чем с авторучкой за столом. Первую я разбил, едва (повезло!) остались живы. Вместе с Людой поехали по «бетонке» в сторону Новосибирска. Дорога хорошая, машин тогда было мало. Просто решили «проехаться». На обратном пути во время обгона двух грузовиков с жердями меня выбросило на обочину, а затем метрах в полутора-двух – в кювет. «Москвич» наш, естественно, перевернулся набок и остановился метрах в двадцати от дороги. Я Люду вытащил через окно первой двери. Запаниковал. Люда была очень спокойна. Стала уговаривать меня. Сказалась, видимо, выдержка, сила воли хирурга. Как ни трудно, а во время операции хирург всегда должен быть спокоен. Мимо по кювету, на просёлке, проезжал мужчина на бричке. Я его попросил нам помочь. Зацепили каким-то образом машину, лежащую на боку, и поставили одной лошадиной силой на колёса. «Москвич» завёлся. С разбитыми стёклами и помятой крышей (машина во время аварии какое-то время «катилась» на крыше), мы поехали домой. На въезде в город нас оглядели гаишники, но не остановили. Машина новая, застрахованная. На страховые выплаты мы купили по тем временам очень дорогое кольцо с большим бриллиантом в середине и десятком маленьких вокруг него.

После защиты докторской диссертации ректор пригласил меня и сказал, что мне теперь полагается «Волга». Это была удивительная машина. С 1984 г. по настоящее время она «в строю». Сейчас 2017 год. Я подарил её своей сестре Аграфене Максимовне. Купили новую – КИА и т.д. Одну из предпоследних машин – РАФ-IV – разбил уже мой внук Андрей.

С сыном мы очень дружили. Иногда говорили по несколько часов. Люда ревновала. С первого по четвёртый класс

включительно он учился в школе рядом с местом работы Люды. В это время прилетал в Барнаул Герман Титов, космонавт № 2. Приходил к ним в школу, фотографировался. Боря сидел у него на руках. Правда, фотография не сохранилась. Пятый его класс был уже в центре города. Мы жили в трёхкомнатной квартире напротив краевого театра, краевого исполнительного комитета. В пятом классе он оказался не только с однофамильцем, но и имена у них были одинаковые – два Бориса. Нашего стали именовать Борей, а другого – Борисом. Видимо, потому, что тот был крупнее и выше. Не прошло и года, как наш «выстрелил», стал на голову выше Бориса, но имена у них так и остались до окончания школы.

Мы выписывали центральные газеты и журналы. Но не могли их забрать у Бориса до тех пор, пока он не ознакомится с их содержанием. Я стал сомневаться в том, что он понимает прочитанное. Обратил внимание и на его обиды на учителей, когда он заявлял, что урок хорошо знает, а учительница его недооценивает. Стал заниматься с ним. Когда Боря говорил, что «уроки приготовил», попытался проверить. Оказалось, что он быстро читает, понимает написанное, но не может толком пересказать. Вот тогда мы выработали «элементарные правила учёбы»: сначала прочесть заданный материал, затем разбить его на части, исходя из содержания, и уже потом повторить. Не всё удавалось. Я объяснял ему, что, разбив содержание на части, он может всегда отвечать, не запинаясь: если забыл вторую часть, можно сразу перейти к третьей и т.д. Боря жаловался маме, что я к нему «придираюсь». Но такая методика обучения ему помогала.

В десятом классе зашла речь о будущем сына. Люда хотела, чтобы он поступил в институт, стал врачом. Её понять

можно. Заслуженный врач РФ, депутат исполнительного комитета краевого совета, знаменитый хирург-офтальмолог. Всё это открывало сыну широкую дорогу в жизни. Мне же хотелось передать ему своё научное наследство.

Пришло время «открытых дверей» в вузах. Он пошёл на встречу с профессорско-преподавательским коллективом в медицинский институт. И надо же так случиться, что его вместе с другими школьниками повели не куда-нибудь, а в морг. Когда он вернулся домой, то сказал вполне определённо, что врачом не станет, а одного юриста, т.е. меня, в семье достаточно. Свою судьбу он определил сам. Втайне от нас подал документы в политехнический институт, поступил без моего участия, хотя председателем приёмной комиссии был доцент моей кафедры.

А дальше было, как в бытовом романе. Люда очень хотела, чтобы Боря поступил в аспирантуру в Барнауле, а я правдой-неправдой отправил его в Томский политехнический институт, ныне – университет.

В аспирантуре он познакомился с очень милой, с красивой фигурой девушкой Наташей из Братска, женился. Она родила ему двух детей – Лену и Андрея.

Дальше вы всё узнаете из их уст. Они, если захотят, расскажут лучше, чем я.

Послесловие

Мне как-то позвонил бывший приятель по работе. Мы с ним разговорились. Он стал пенять мне, что я ему не звоню первым. И вдруг слышу фразу: «Я княжеского рода. Больше звонить тебе первым не буду». Было смешно и грустно слышать эти слова от человека, который десять лет не мог защитить кандидатскую диссертацию «у себя дома» – совет по его специальности в то время уже работал в нашем университете.

Хотелось также сказать, что княжеский либо дворянский титул в наше время можно купить за сравнительно небольшую сумму. И это стало модным. Покупали кандидатские и докторские диссертации. И даже званиями гордились. Какие времена – такие и люди.

Я всегда гордился своим прошлым, своими родителями, земляками, которые никогда не позволили бы себе кому-то завидовать, подражать, жить под чужим именем.

Все мы из народа, из тех же крепостных, крестьян, селян, горожан, торговцев и воинов, которые не предавали своих корней, гордились ими. Не важно, из какого ты рода, важно то, что ты в своей жизни сделал, чего достиг. Сделал не только для себя, но и для других. Именно этим оценивается каждый из нас. Счастлив тот, кто смог понять это вовремя.

Коротко о себе

Фантазёр, самые «дикие» фантазии которого почему-то сбывались без особых усилий с моей стороны. Холерик, который всю свою жизнь стремился воспитать в себе флегматика. Агровант. Трудоголик и лентяй одновременно. Я к столу за работу буквально приводил себя усилием воли, иногда непомерной. Любил по несколько дней заниматься «ничего неделанием».

Гордился не открытыми мной аспирантурой, советом по защите кандидатских диссертаций по специальности 12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения, не обилием своих учеников, написанными книгами и опубликованными в центральной прессе статьями, докладами на международных и всероссийских конференциях, а тем, что мне хотелось и удалось сделать своими руками. С удовольствием покупал на «толкучках» столярные инструменты, строгал, пилил, прибывал и сколачивал, хотя всегда получалось «не очень».

Любил поговаривать среди «своих», что живу «не свою жизнь», что делаю то, что, видимо, не является моим призванием и т.п. Особенно подчёркивал в таких разговорах, что если бы я был инженером, то болт, изобретённый мною, был бы «болтом Лебедева», а гайка – «гайкой Лебедева». Будучи же юристом, я только читал в работах других, как они потихоньку «крадут мои мысли», а я не могу это пресечь.

Стоит вспомнить добрыми словами созданную мной в Томском госуниверситете томскую школу трудового права.

Она действительно оригинальна, капитально разработана. Материалы опубликованы в 2017 г. московским издательством «Норма» в нашей последней книге «Трудовое право». Это труд более чем в пятьсот страниц, если я не ошибаюсь. Почему не ошибаюсь? Дело в том, что я не читаю то, что уже опубликовано, живу чем-то новым. Однако это «новое» даётся в восемьдесят лет всё с большим трудом.

P.S. Что касается истории нашего рода сегодня – детей, внуков, – они напишут её сами. Для меня это непосильная работа.

*С уважением и любовью, Ваш Лебедев,
который Владимир.
Томск, 2015–2016–2017 гг.*

**Беседы и путешествие
с мёртвой женой
по Советскому Союзу**

повесть

Посвящается

Людмиле Фёдоровне Лебедевой,
умершей 15 марта 1990 г. в Запорожье,
похороненной 18 марта 1990 г. в Томске

Обращение к читателю

В психиатрическую больницу Его привезли через полгода после смерти жены. Он производил впечатление вполне здорового человека. Правда, любой разговор с Ним у нас обычно заканчивался долгим и тягостным молчанием. Он как бы уходил в себя и, казалось, понимал и даже видел то, что было недоступно нам. Вывести Его из этого состояния было невозможно. Так он мог просидеть и пять, и десять минут, и час. В следующий раз своё молчание Он с удовольствием объяснял контактом со своей умершей женой. И всё в этом рассказе было логично, рисовалось светлыми солнечными красками, изобиловало деталями, не оставляющими сомнений в истинности контакта.

Видимо, этот человек был по-своему талантлив, поскольку не слушать эту чертовщину, как мы говорили между собой, было невозможно. Поэтому и возникла идея кое-что из Его рассказов записать, попытаться сверить с Его биографией. И что удивительно, мы не нашли ничего, что могло как-то опровергнуть их достоверность. Действительно, такое путешествие состоялось. Все трудности, в том числе и попытка Его ограбления, имели место. Под Харьковом Его обнаружили замерзающим, уже почти мёртвым, но без каких бы то ни было следов обморожения. И даже в мартовском номере «Известий» мы нашли заметку о летающих тарелках и неземлянине, так похожем на того, о котором Он нам рассказывал. Состоялась и служба – отпевание Его жены в церкви, а московские «гаишники» вспомнили, что в марте действительно

какой-то странный человек с гробом на «Волге» пытался проехать в центр, в Свято-Данилов монастырь.

Пусть не обижается читатель, что мы говорим от имени больного человека. В обществе нередко бредовые идеи овладевают не только отдельными несчастными, но и миллионами людей; реальность, ложь, правда и мистика почему-то прекрасно уживаются и даже поддерживают, уравнивают друг друга. Поверьте нашему опыту, в психиатрической больнице меньше злобы, зависти, неискренности, мстительности, чем за её воротами.

Он не тяготился пребыванием в нашем учреждении и как-то сказал нам, что живёт в психиатрической клинике «в квадрате». И здесь же пояснил: тот свободный мир такой же сумасшедший дом, только критерии оценки этого сумасшествия иные, чем у нас. Нередко, как говорят, устами блаженно-го глаголет истина, и нам в этом приходилось убеждаться неоднократно.

Когда записки уже были готовы и мы познакомили с ними Его родственников, сын принёс нам пухлую папку с собственноручными записями больного на эту же тему. Его записи нам показались интереснее, да и изложение от первого лица более убедительным, более правдивым.

Что получилось? Не знаю. Иногда мне кажется, что это был крик человека, который не хотел быть услышанным.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

Об обстоятельствах, которые предшествовали путешествию

Городок, в котором мы поселились, как нам казалось, на долгие годы, находился у моря. Тёплый, ласковый и какой-то особенно тихий и светлый в предвечернее время. Тихие, чистые улочки, ухоженные сады и цветники перед одноэтажными кирпичными домиками, свежесть морской прохлады – всё это трогало, умиляло, настраивало на какой-то особый лад.

В отличие от меня, она умела не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Каждый лист на дереве или цветок говорил ей о многом. И она, то возмущаясь, то смеясь, объясняла мне не в первый раз, как какое дерево, цветок, кустарник или трава растут, цветут, какую приносят пользу. Или, забывая на минуту об этом, заставляла слушать лягушачьи «концерты» в небольшой городской речушке, почти незаметно несущей свои воды в ласковое спокойное вечернее море. С чувством, мне не понятным, она следила за переправой с одного берега на другой небольшого стада коз почему-то на жестяной лодке, похожей на большое корыто. Это повторялось каждый день, когда хозяйка перевозила их с выпаса домой на ночь. Городок располагался на левом берегу речушки, а правый, весь поросший зелёной сочной травой, как бы подпирал пашню. Коз и коров там содержали на привязи. И ей было очень жаль их, поскольку они напоминали людей, также прикованных друг к другу и обстоятельствам неведомыми цепями. Не только с животными, но и с деревьями и цветами она разговаривала, как с живыми. Меня всё это и трогало, и тревожило. Какая-то мистика жила рядом

с нами. Мне иногда казалось, что и животные, и цветы её понимали. В такую минуту хотелось смеяться и плакать, какое-то щемящее чувство душевной близости и любви к этому человеку охватывало меня и, как морская волна, несло, несло, несло... Хотелось говорить стихами и шептать ей на ухо нежные, ласковые слова. Но я почти никогда не делал этого и нередко стоически выносил упрёки в обратном: что я чёрств, груб, невоспитан и не говорю ей нежных красивых слов. Мне тогда казалось, что в отношениях мужа и жены более важны поступки.

Она очень хотела, чтобы я называл её Люсей, а не Людмилой, как мне хотелось, или, по крайней мере, Людой. Это была моя жена, какой я её знал и запомнил навечно.

Умерла она неожиданно, заболев перед своим днём рождения. Боролась за жизнь отчаянно. Глядя на неё, я десятки раз просил Бога, чтобы он сохранил её, а взял бы мою жизнь. А когда она умерла, обозвал его, кажется, негодяем или кем-то в этом роде. Боже, как она хотела жить! Правда, не загадывала надолго, но просила хотя бы год-два. В последнее время часто говорила о скорой кончине, а где-то за месяц до этого попросила отвезти её после смерти в Сибирь, «к моему отцу, – как она сказала. – Там хоть за могилкой моей дети присмотрят». Я не нашёл ничего лучшего, как перевести этот разговор в шутку, предложив умереть вместе, в одно и то же время.

– Нет, – сказала она. – Ты должен жить. Я этого очень хочу. А на моей могиле обязательно посади рябинку. Цветы я люблю, но их поливать будет некому, засохнут. Нет ничего хуже, чем умершие цветы.

Смерть её как-то предельно сузила моё понимание происходящего. Сознание выхватывало части, куски нашей совместной

жизни и материализовалось, концентрировалось самым неожиданным образом. Главное – выполнить её предсмертное желание, главное – отвезти её к отцу. В то время детали меня не занимали. Это сейчас я с ужасом думаю, как можно было решиться на такое путешествие, а в то время всё было просто и понятно.

Для перевозки тела необходим цинковый гроб. Цинковых гробов у нас не делали. Общими усилиями городка эту проблему мы решили, собрав всё у всех, что могло быть использовано для этого.

Перевозка на поезде была исключена – слишком далёкий путь. Большие самолёты у нас не садились. Надо было везти в областной центр. Но наступала суббота, за которой шёл второй выходной день – воскресенье.

Переговоры с начальником авиаотряда и его заместителем не радовали. Они обещали содействие, если я представлю к перевозке цинковый гроб в деревянной обшивке определённых размеров, чтобы его можно было поместить в грузовой отсек самолёта. Билетов из Москвы в Сибирь не гарантировали, их просто не было на ближайшие пять дней.

Среди моих товарищей и знакомых начались тягостные рассуждения на тему, как отговорить меня от этой нереальной затеи. Именно под их уговоры и увещевания я погрузил гроб с телом Люси на багажник автомашины и уехал в пятницу ночью в областной центр.

Видимо, я плохо понимал, что творил. Субботний большой город жил своей жизнью. Ему и дела не было до моих забот, до моего горя и до самого меня. Куда я ни обращался, все слушали с явно выраженным терпением на лице, объясняя долго и убедительно, что помочь именно сейчас они

не могут. Выяснилось, что и деревянную обшивку для гроба они сделать не в состоянии, поскольку пиломатериала для гробов в городе осталось всего лишь на день-полтора, а как хоронить покойников в понедельник, они и сами не знают. Кругом проблемы, проблемы, дефицит и такая логика чёрствой души, что хотелось стучать кулаком и громко выть, а не плакать, хотя слёз я уже давно не сдерживал и не стыдился их. Так, ходя по какому-то адскому безнадёжному кругу, к двенадцати часам я оказался в обкоме партии – у третьего секретаря. Мне говорили, что руководители такого ранга любят работать по субботам и я его смогу застать. Он слушал меня терпеливо и молча, угрюмо рассматривая то свои руки, то мою уставшую, измотанную от бессонницы последних дней фигуру в мятом чёрном костюме и синей в белую крапинку рубашке (чёрной купить не удалось – оказалось, их просто не выпускают в Союзе, а импортные бывают редко и сейчас их днём с огнём не сыщешь).

Мне отказали и здесь – вежливо, логично. Опять зачем-то считали гробы, пиломатериал, потенциальных покойников и упирались в проблему похорон умерших в понедельник. То, что со мной случилось в конце беседы, видимо, и называют истерикой. Я помню, что кричал дурным голосом, стучал кулаком по подлокотнику кресла, кого-то просил и кому-то угрожал.

Оказавшись на улице перед Домом Советов в толпе народа с лозунгами и крикливыми мегафонами, я сам потянулся к одному из них. Говорил сбивчиво о человечности, о партийном братстве, об аппаратчиках и в конце речи сжёг свой партийный билет. Толпа оцепенела. Меня пропустили к моей «Волге», и я поехал, ещё отчётливо не понимая сам куда.

Мысль рождалась и крепла в пути, упрямая, как сам хозяин. Оказавшись на московской трассе, я уже чётко знал, куда и зачем еду. Так началось моё путешествие с юга на север, затем на восток и снова на север, через две части света, семь тысяч километров. Моей бедной «Волге» предстояло в мартовские дни мерить своими колёсами не сотни, а тысячи и тысячи километров по снегу и бездорожью, слушая мои откровения и стесняясь моих слёз. Я никогда не думал, что мужчина может так долго и безутешно плакать, как женщина или безрассудное дитя. Никаким усилием воли, бывало, нельзя было остановить эти слёзы. Правда, они на какое-то время приносили и облегчение, но ненадолго.

РАССКАЗ ВТОРОЙ

Вторая ночь

Машина понимает своего хозяина. Это правда. Сегодня она во всём старалась мне угодить. Ровно работал мотор, хорошо обогревался салон. Только стрелка датчика горючего неуклонно стремилась к нулю. Я не хотел смотреть на эту упрямую стрелку, но где-то рядом со страданием и горем уже зарождалась мысль ещё об одной опасности. Не остаться бы в этой холодной степи без горючего и без надежды.

Село появилось одновременно с темнотой. В марте у нас вечереет быстро, и густая вязкая чернота наступает всегда как-то неожиданно и властно.

Думать о том, чтобы заправить автомашину, не приходилось, и я повернул к первому попавшемуся двору с одной лишь целью – попроситься переночевать. На мой стук отозвалась женщина и, узнав, кто я и моё горе, откровенно призналась, что очень боится покойников. Мужчина из соседней хаты посоветовал мне ехать в сельсовет или контору колхоза.

И сельсовет, и контора, конечно, были закрыты.

– Господи, – прошептал я, – неужели это возможно – замёрзнуть в селе, среди людей, в собственном автомобиле?! Кто же мы? Где же то, что делает нас людьми? Неужели страх друг перед другом или полнейшее безразличие к судьбе другого и есть то, что мы приобрели за долгие годы строительства нового общества?

Повернул ещё к одному дому. Постучал в окно. Отозвалась, показавшись в освещённом окне, пожилая женщина. Помахала крючковатым пальцем в сторону дверей и скрылась. Я до сих пор не могу привыкнуть к украинским хатам.

Внушительные по размерам снаружи, они так тесны и неудобны, что всегда вызывали у меня желание скорее выйти на воздух, во двор. Старушка впустила меня не сразу. Открыла только верхнюю часть двери. Слушала внимательно и спокойно мою историю, очень плохо похожую на правду. Впустила без слов. Провела в маленькую квадратную комнатушку, предоставив её в полное моё распоряжение.

– Я тебя, хороший человек, тут положу, тебе и её будет хорошо видно из окошка. Вон, гляди. Хорошо? Занести в хату мы её с тобой вдвоём не сможем. Пусть не обижается, а если захочешь поговорить, то и через окошко можно.

Я когда мужа похоронила, то долго с ним разговаривала. Одна в избе, а всё говорю и говорю. Да до того уже договори-лась, что мне казалось, и он меня понимает. Вон, видишь фотографию. Глазами он всё время на меня смотрит, а в них то усмешка, то жалость, то как бы подтрунивает: давай, мол, Маришка, – так он меня называл, – давай – жить-то ведь надо.

И так больше месяца было. Сорок дней отметили, а он всё здесь, рядом. Да и меня как бы пополам разрезали, отняли у меня его, по живому отрубив. Ездил в город отпевать. Да. В церкви отпевали, как положено. После этого как-то легче стало. Нельзя сказать, что мы верующие были, но где-то там у нас внутри Бог был. Свой, если его Богом назвать можно. Сейчас все Бога где-то снаружи находят. А у меня Бог свой, у меня, вот тут.

И она показала ладонью куда-то ниже шеи. Засыпая, я слышал её бормотанье долго. Оно как-то наплывало и уходило вновь тягучими словесными волнами, принося с собой успокоение и небытие.

– Ты поспи, а я посижу с покойной-то, как её имя? Молитвы почитаю? Ничего, что она за окном. Она поймёт, она простит.

– Людмилой, Людой, Люсей, – твердил я, борясь со сном, понимая, что лучше не спать, что она – Люся – со мной с сонным будет скучать, хоть и мёртвая, но для меня всегда живая, ласковая, родная... Люся, Люсенька, я не сплю, не сплю, не... И мне уже снился странный белый сон. Мы втроем в каком-то огромном самолёте. В салонах нет кресел и перегородок. Там, где должна быть кабина пилотов, большая светлая дыра. Люся уходит, уплывает от меня, держа кого-то за руку. Оба в белых одеждах. Ко мне обернулась вполоборота, улыбается и радуется всем своим существом, изящным и нежным, машет мне рукой. Я ещё ничего не понимаю и хочу, силуясь её спросить о том, куда уплывает, но не могу это сделать. Они исчезают в светлой белесой дыре, и я просыпаюсь с ощущением непоправимого и неизбежного. Слышу всё тот же голос своей великодушной хозяйки. Она всё говорит и говорит, и я улавливаю имя Люды, Люси, Людмилы, а может быть, всё это мне тоже снится. Одинокие старушки любят поговорить. Это от одиночества. Это уже своего рода болезнь, потребность изболевшейся, страдающей души. Скоро и я так же буду искать возможности выговориться, как она. Я тоже одинок, очень одинок, безмерно одинок. Всё же сплю я или это реальность? И снова самолёт без салонов и кресел. И снова эта обрубленная прямо в небо, в небытие сигара, и мы трое внутри неё. Улыбающаяся, летящая моя Люся, а кто же рядом с нею? Весь в белых одеждах. Конечно, это мужчина, но лица и фигуру не могу разглядеть. Белые одежды, уходящие в белый светлый мир.

– Люся-я-я-я! – Кричу я почему-то дурным голосом, который в стократ усиливает и поглощает Вселенная, – Люся-я-я!

РАССКАЗ ТРЕТИЙ

Безумный бесноватый мир

От села к селу по московскому тракту я добирался сравнительно нормально. Трудности доставляли мне города и городки, в которых мой путь терялся сразу же, как только я в них въезжал. Постоянные расспросы, как и куда ехать, чтобы выбраться на московскую дорогу, отнимали у меня много времени и душевных сил. За всю свою жизнь я не встречал столько бестолковых и равнодушных людей, сколько в этой поездке в больших и малых городах. Как правило, редко кто мог мне доступно ответить на вопрос о том, куда ехать дальше.

Машина не могла не обращать на себя внимания, и скоро за свою откровенность в таких разговорах я расплатился полной мерой. Оказывается, жизнь по отношению к нам в жестокости своей всегда щедра необыкновенно. Измерить или хотя бы предусмотреть эту жестокость судьбы заранее просто не хватило бы фантазии.

На третий день к вечеру меня остановили, оттеснив на обочину, две вазовских «девятки». Из каждой вышли по трое. Двое остались за рулём своих автомобилей. Беды я как-то не почувствовал сразу. И долго не мог понять, чего они от меня хотят. Когда они отвязывали гроб, я просил их не делать этого, поскольку сам вязал, сам всё проверил. Когда снимали и ставили на обочину, я уговаривал их делать это осторожнее. И вдруг один из них стал быстро обыскивать меня, требовать ключи от машины, толкнул меня с обочины дороги вниз, и обе машины мгновенно унеслись, оставив после себя нелепую картину.

Из кювета помог мне выбраться молодой солдат, чем-то похожий на нашего соседа Валентина. Может быть, доброй,

полной сочувствия улыбкой в глазах. Из подоспевшего ГАЗ-69 вышли ещё несколько солдат. Я им что-то рассказывал и, кажется, плакал. Меня усадили на переднее сиденье моей же «Волги» и привезли в город. За несколько часов пути я понял, наконец, происшедшее. Но удивительно, что ни одного лица нападавших на меня мужчин, как и номеров их автомашин, я не запомнил. Ни одного и ничего, что могло бы заинтересовать милицию.

Было воскресенье. И я поехал прямо на «барахолку». Она бурлила, жила своей полнокровной жизнью на краю этого большого города. Здесь можно было купить всё. Прижав щёткой стеклоочистителя объявление самого, казалось бы, нелепого содержания: «Куплю за любую цену автомат», – я пошёл толкаться по рядам, задавая всем один и тот же вопрос: «Где можно купить оружие?». Некоторые улыбались, шутили, другие смотрели на меня как на шпика, но никто не остановил и не свёл в милицию. Из газет я знал, что в этом городе на заводах изготавливают в наше лихое время автоматы, поэтому был так настойчив в своих вопросах.

Потолкавшись около часа, я вернулся к своему автомобилю, стал собираться в дорогу.

– Подвезёшь в город, – подошёл ко мне молодой мужчина, – тебе, может быть, со мной по пути?

– Не знаю, – буркнул я. – Садись, если будет не по пути, высажу.

Выехали мы с большим трудом. Автомобили и пешеходы были «непробиваемы», стояли, как говорится, насмерть, не желая уступать нам дорогу.

– Тебе действительно нужен автомат? – почему-то тихо, подавшись ко мне боком, спросил мужчина.

- Очень, – серьёзно ответил я.
- Нужен кусок.
- Что это такое?
- Тысяча рублей нужна.
- Если будет автомат с диском, получишь свою тысячу.
- Сверни вот сюда. Стой и не двигайся с места и не выходи из машины. Жди меня.

Вернулся он минут через пятнадцать, когда я уже стал жалеть о своей затее. Мне казалось, что снова появятся шестеро дюжих парней и вытряхнут меня из машины, как там, на обочине, в степи. А если и принесёт он что-то, то почему боевой автомат и, тем более, с диском патронов?

Но мне повезло. И автомат был в исправности, и рожок его, а не диск, полон патронов. Деньги я отдал с радостью. Да в то время, мне кажется, я всё бы отдал, лишь бы довести её до конца, выполнить последнюю просьбу. Своих желаний у меня не было и быть не могло.

Далеко за городом я опробовал своё оружие. Одинокий выстрел прозвучал хлётко и неожиданно, толкнув меня прикладом в плечо.

Я оказался прав. Часа через два пути я их вновь встретил. Они меня, видимо, уже давно здесь поджидали. Резво взяв с обочины дороги, «повели» внимательно и даже бережно. Я их узнал, хотя казалось ранее, что ни лиц, ни номеров не помню.

Через полчаса остановились. На дороге пустынно. Вечерело. Вышли вновь вшестером. Шли молча. Передняя машина развернулась, и я теперь выдел лицо человека, сидящего за рулём. Приближались они ко мне, казалось, вечность.

– Ложись, подонки! – услышал я, как бы со стороны, уже не свой, а чужой мне голос – визгливый и неприятный.

Выскочив из машины, я дал короткую очередь поверх голов идущих ко мне людей.

Они упали, как убитые. Ещё несколькими очередями я «перекрестил» радиаторы их «нольдевяток» Спокойно, на удивление спокойно сел в свою «Волгу» и уехал.

– Господи! – шептал я, не оглядываясь, – Господи, сколько же ещё ты будешь меня испытывать? Ну зачем так много одному человеку? Всего этого хватило бы на десяток жизней. Нет, Господи, если ты действительно есть и во мне, как говорила эта старушка, то я демон какой-то...

Дорога резво бежала мне навстречу. Пот катился по моему лицу, солёный и тёплый, как слёзы. А может быть, это и были слёзы?

РАССКАЗ ЧЕТВЁРТЫЙ

Вторая встреча с женой после её смерти (начало)

Что заглох мотор и машина остановилась, я понял не сразу. Яркий желтоватый сноп света ударил в радиатор, а потом в салон автомобиля через лобовое стекло. Вокруг меня стало необычно светло. На щитке приборов стрелки спокойно лежали. Все мои попытки запустить мотор казались какой-то детской игрой. Я видел себя как бы со стороны и понимал всю нелепость своих решений. Сколько прошло времени, не знаю, когда появился рядом с автомобилем очень высокий, длиннорукий, с узким лицом человек. Он был одет в серый костюм.

– В марте – и так одет, – подумал я. – Холодно. Снег кругом. – Движением руки он как бы успокоил, «приковал» меня к сидению. Я не мог даже пошевелиться. Был слышен вибрирующий скрип открывающегося цинкового гроба. То, что делается наверху автомобиля, хорошо слышно внутри салона. Через какое-то время незнакомец посадил ко мне в салон живую и очень спокойную Люсю. Она смотрела не на меня, а куда-то вперёд, на освещённую желтоватым светом мартовскую пустынную дорогу, на покрытую снегом степь.

Желтовато-яркое освещение вокруг нас исчезло. Мотор автомашины работал ровно, луч фар вырывал из темноты обочину, кювет, уходящую в белоснежную даль дороги.

– Поедем к отцу, – сказала Люся.

И я послушно стал выворачивать свою «коломбину», как мы в шутку иногда называли свою «Волгу», с обочины.

– До отца нам..., – начал было я.

Но она остановила меня, приложив пальчики к моим губам.

– Едем!

Всё было просто, естественно, обычно, как всегда. Машина быстро набирала скорость.

– Быстрее, быстрее, – смеясь, подзадоривала меня Люся. – Что ты едешь, как давишь клопов! Не забывай, это же «Волга». Сто двадцать – это нормальная для неё скорость по пустынной дороге! – и запела. Голос у неё был удивительный. На улице была звонкая яркозвёздная ночь.

Асфальтное, занесённое снегом полотно дороги непривычно рябило в лучах автомобильных фар, и мне было немного жутковато от ожидания, что на первом же повороте мы улетим далеко в кювет, и уже ничто не спасёт нас.

– Разобьёмся. Я не умею ездить так быстро зимой.

– Смешной ты мой! – Она положила голову на плечо, – ничего с нами не случится, пока вон та светящаяся точка в небе, позади нас, горит на небосклоне. Это те, кто помог нам с тобою ещё раз встретиться на этой земле, в наших обычных условиях. Они всемогущи в нашем понимании.

– Кто они?

– Это долго рассказывать, да ты и не поймёшь. Гуманитарий ты.

– Ну зачем ты так!

– Всё наше учение о галактиках и тому подобное – это результат нашего незнания.

– Вот как?!

– Да, да. Именно незнание лежит в основе наших научных поисков и гипотез. А на самом деле то, что мы пытаемся познать, намного проще и естественнее наших умопостроений.

Она откинулась на своём кресле и стала декламировать:

Что нам всем этот мир?

Картина для слепца, взлелеянный кумир?

Догадки мудреца?

Гомер – для рыб? Природа пошутила,

Нам в знание незнание подарила.

– Мне знакомы эти стихи.

– Это может сказать каждый из нас. Неважно в такие минуты, какие слова произносишь. Главное, что в такое время можешь общаться с вечностью.

– Вечность, – помолчав немного, сказала она, – для каждого своя. Самая большая наша ошибка – это отказ от измерений, в конечном счёте. Они нам непонятны, они пугают.

И тихо, как-то особенно вслушиваясь в себя, продолжала:

Мне всякий раз становится прескверно,

Когда подумаю, что мир во мне живёт,

Что я – Вселенная, наверно.

– Но всё же, кто они, держатели этого желтоватого света?

– Ты так ничего и не понял. Я так и знала. Смерти в нашем понимании нет, мой милый, нет. Это трудно понять. Вот у них смерть – это перевод человека на другую орбиту. Вообще-то они бессмертны, но есть такой обычай, правило, что, выполнив своё предназначение, каждый из них даёт своё согласие перейти на другую орбиту.

– Что такое «перейти на другую орбиту»?

– Ну как тебе объяснить? Вспомни строение солнечной системы, строение молекулы, атома, электрона и ядра. Каждая молекула – это и есть галактика в нашем понимании. Правда, мы не смотрим на этот мир так. Мы все устремлены в небесные дали. Но это всё равно. Так вот, перевод с планеты

на планету, из одного атома на другой – это и есть изменение орбиты, перевод на другую. При этом уходящих они лишают воспоминаний о прошлом. Изменяются форма и измерение во времени и пространстве. Иногда они и нас переводят на свою орбиту. Меня готовят к этому. Поэтому мы с тобою по нашим земным меркам проживём ещё одну жизнь как подарок за моё будущее.

– Извини, ничего не понимаю, остановимся. Голова идёт кругом. Плохо вижу дорогу.

– Да брось же ты свой руль. Машина пойдёт сама. Иди ко мне. Вот сюда, на заднее сиденье. Обними крепче, крепче, как всегда, чтобы «хрустели косточки». Любимый мой! Хороший! Единственный! Мой Бог! Как я люблю тебя! Так любят только перед последней разлукой. Я много думала о тебе перед этим. О тебе, о нас. Хорошо мы прожили свою жизнь. Я хочу только, чтобы ты по пути к отцу отпел меня в Свято-Даниловом монастыре. Ты же всё равно через Москву поедешь. Другого для тебя пути нет. А если хочешь, то можешь и на месте. Там тоже есть храмы. Торжественность, тишина, вечность.

Голова кружилась.

Я уже плохо различал черты её лица. Мне казалось, что она уходит, ускользает от меня по частям. Вот уже целуют меня губы не её, чужие, и фигура неузнаваемо изменяется.

– Не уходи, – шепчу я, – не ускользай, – умоляю я её.

– Приходишь в себя, оживаешь, сердечный ты мой? Ну, ещё что-нибудь скажи. Говори, говори же! – слышу я торопливый, согревающий меня шёпот. Мне жарко, душно, я задыхаюсь. Открыв глаза, вижу ярко освещённое солнцем окно. В этом свете искрится, теряя очертания, обнажённое женское

тело. Она бесстыдно смотрит на меня и в свете солнечных лучей собирает и укладывает длинные светлые волосы. Чертовщина какая-то. Я отворачиваюсь к стене и закрываю глаза. За спиной слышу насмешливый голос:

– Ожил? Совсем мёртвенький был. Клубочком свернувшись, лежал на заднем сиденье в машине. Холодный весь, и сердечко чуть билось. На дороге тебя подобрали. Замерзал. И ко мне привезли. Врач я здесь, на весь сельсовет одна. Вот и возилась с тобой до самого утра. Ты уж извини, что так получилось. Пришлось применить к тебе старое скверное средство Севера. Отогревала тебя своим телом. Красивый ты мужчина. Жалко было отправлять тебя к праотцам, а ничего уже не помогало. А кто эта Люся? Ты всё меня за неё принимал. Обидно даже. Я тебя почти что заново родила, а ты всё Люся да Люся. Удивительно, что на тебе нет никаких следов обморожения. Редкий случай, право, редкий. Не молчи только. Говори, говори. Я тебя сейчас тёплым чайком попою. Ты уже совсем тёпленький, совсем молодец, – и она бесстыдно гладила меня по груди, бёдрам и по всем тем местам, к которым ранее могла прикоснуться только рука жены. – А как обнимал меня, а?

Я начал понимать весь ужас происшедшего. Рыдания сдавливали и разрывали моё горло, слёзы жгли. Крупные и безжалостные, они капали на подушку. Мой Бог! За что? И когда же этому ты положишь конец! Нет, если ты действительно есть, то у тебя нет ни сердца, ни разума. К чему ж тогда такая пошлая жестокость? Зачем ты послал мне эту всемилостивейшую дуру, почему не дал умереть по-человечески? Как же мне после всего этого жить? Да, жить... Надо жить... Я должен выполнить её последнее желание. К отцу, скорее к отцу! Надо ехать. На улице уже день.

РАССКАЗ ПЯТЫЙ

Теряя, ценим мы, вернуть что невозможно

Я стал бояться себя. Сидя за рулём, постоянно говорил с нею. Мы обсуждали всё, что можно только себе представить. Чтобы не сойти с ума, стал брать попутчиков от села к селу или городу. Но от них я уставал больше, чем от разговоров с Люсей. Круг замыкался. Горе безжалостно давило меня. Слабея духом, телом не окрепнешь. Силы действительно покидали не по дням, а по часам. И «Волга» моя оказалась под стать хозяину. Стала «вредничать», упрямиться. И проехать мимо станции технического обслуживания очередного города уже было невозможно. Обычная станция технического обслуживания и, как я скоро убедился, с обычными нравами. Меня долго водили, долго смотрели, качали головой, намекали, что без бутылки не обойтись.

Всё было, как и у нас. То, что водитель и груз необычны, никого не волновало. Моё горе, моя боль так и не стала их горем, их болью.

Для проведения ремонта необходимо было снять гроб. Никто этого делать не хотел. Пришлось платить.

Не оказалось запасных частей. То, что мне необходимо срочно ехать, оказалось только моей заботой. И снова пришлось платить.

Уходила вера в Людей. Передо мной были дельцы, привыкшие выжимать из любой ситуации всё то, что можно взять. Пришлось платить и за то, что помогли поставить гроб на место, закрепить. Не знаю, почему всю эту обыденность платности предоставляемых мне услуг я так болезненно и остро воспринимал. Мне почему-то хотелось видеть любого

из этих работников, от директора до слесаря, на моём месте. Постыдное желание, желание мести ранее мне было чуждо. Я не осуждал себя за то, что желаю этим людям такого же зла, какое переживаю в эту минуту сам. Это очередное открытие долго занимало и волновало меня. Я рассказывал о нём Люсе, каялся и снова загорался ненавистью и злобой к этим людям. Как быстро в горе черствеет душа человеческая, как скоро старится она и становится душонкой, полной тяжёлого запаха и гнили!

На следующий день я загрузил в багажник десяток бутылок водки – надёжную гарантию и безопасной дороги, и скорой заправки, и срочного ремонта.

За бутылку водки тащили мою «Волгу» с удивительным для всех грузом по бездорожью. За бутылку водки вытаскивали из кюветов и канав. За бутылку водки... Деньги мне оказались для этих целей совершенно не нужны и даже бесполезны. Она, проклятая бутылка, как путеводная звезда, прокладывала мне дорогу к людской совести, человеческим сердцам, открывала двери домов и учреждений. Как я презирал её, как я ругал её последними словами, покупая снова, в какой уже раз! Да ведь не везде и не всегда купишь. Тоже, наверное, проклятие Судьбы. Ни я, ни Люся водку не пили, терпеть её не могли. Бутылка месяцами в ожидании гостей могла стоять в шкафу, не обращая на себя внимания. А сейчас мы без неё просто не могли существовать, быть, жить, двигаться.

Воистину, получишь всё сполна, если не при жизни, то со смертью своей. Я никогда ранее не думал о величии и падении души. Теряя что-то большое и важное в себе, с горечью понимал невозместимость утраты. Жизнь сглаживала углы души, делала её пригодной для всех случаев жизни.

РАССКАЗ ШЕСТОЙ

Встреча с Москвой

Москва. Да, Москва в это время жила своей обновляющейся жизнью. На улице Горького продавали напечатанные в самиздатовских листках – порождение перестройки – откровения М.С. Горбачёва иностранным журналистам о том, что ему всегда везло на женщин, автобиографические заметки о его жене, главы из автобиографической повести Ельцина. А на заборах и стенах Арбата красовались карикатуры на Горбачёва и Лигачёва, открыто продавались 46 способов половой любви в картинках, брелки с презервативом и календари с обнажёнными женскими фигурами. Перестройка выплеснула на улицы весь душевный гной и дефицит в самых несуразных формах. Москва боролась, Москва вела, Москва захлёбывалась в собственной блевотине. Ей не было дела до переживаний и бед провинциалов. Здесь сводились счёты по-крупному, и интересы и нужды отдельного человека только-только начинали восприниматься политиками как свои собственные. На это требовалось время и время.

Весеннее Подмоскowie выглядело хмурым и грязным. Тяжёлые дороги, мёртвые стволы деревьев, огромные потоки машин – всё это отвечало моему настрою, моей больной душе.

– Мне б встряхнуться, моя хорошая, – бормотал я, обращаясь к своей мёртвой жене. – Клин клином вышибают. Как ты думаешь, а? Зелёная трава, цветущий кустарник, шумящие листья деревьев стали бы бальзамом для меня? Смеёшься? Нет? Улыбаешься. Всё же я сильный человек, если не свихнулся до сих пор? Слабый? Это всё твоя помощь? Пусть так. Как ты говорила раньше? Пока мы вместе – мы сила, так,

кажется? Мы и сейчас вместе. Значит, мы всё ещё сила, да? И перед этой силой должно отступить всё, всё, всё!

ГАИ сразу же заинтересовалось нами. Остановив меня у поста ГАИ, капитан долго расспрашивал, разглядывал предъявленные ему документы. Затем пригласил меня к себе в тесную клетушку.

– Всё же я бы посоветовал Вам вернуться. То, что Вы по мартовским дорогам пройдёте шесть-семь тысяч километров в такой экипировке, трудно поверить. Ехать надо было с напарником, да не через Москву, а через Волгоград, а там по Казахстану.

– Мне же, понимаете, в Свято-Данилов монастырь надо. Это её просьба. Отпеть надо, – настойчиво твердил я.

– Что, она об этом перед смертью Вас просила?

– Нет. То есть не совсем. Это она уже говорила после, когда мы с нею встретились.

– Как встретились? После смерти?

– Понимаете, это трудно объяснить. Я... – Мне было понятно замешательство капитана, его отвисшая боксёрская нижняя челюсть говорила о многом.

– Вернуться Вам надо. В Москву я Вас не пущу, да и лучше всего Вам никуда не ехать. К врачу сейчас поедem.

Он решительно сложил мои документы, бросил их на стол и стал барабанить по ним большими, длинными, как у пианиста, пальцами.

– Да, да, – говорил он, – давайте-ка оставим Вашу машину здесь, да съездим к врачу.

– Капитан, я здоров, я абсолютно нормальный человек. Горе у меня. Большое горе. Желание умершей жены для меня – закон, смысл сегодняшней жизни. Хорошо, я не поеду

в Свято-Данилов монастырь, бог с ним, с монастырём. Отпустите меня. Задержка эта дорого мне обойдётся – день потеряю. А их так мало осталось. К отцу мне надо.

Я ещё долго сбивчиво просил, умолял молодого капитана. Но только протянутая ему полусотня круто изменила характер и содержание нашей беседы.

Он подержал пятидесятирублёвку в руке, почему-то помял между пальцами, посмотрел на свет, а затем с карандашом в руке стал рассказывать мне, как двигаться дальше, чтобы не иметь дело с постами ГАИ и не просмотреть свою дорогу, не заблудиться.

Его ровный, спокойный, хорошо поставленный голос сводил мне скулы, вызывал нестерпимую зубную боль. Я тупо разглядывал его склонённую над листком бумаги фигуру, смотрел, не воспринимая, как он чертил для меня схему моего будущего пути, и едва сдерживал себя от искушения ударить его.

– Если ударить кулаком по голове, то головной убор смягчит удар, – думал я отрешённо, – оконфузишься только, даже с ног не собьёшь. Вот палку или лучше бревно, железный прут... Ударить в эту скулу, о неё я просто сломаю руку. Эта государственная челюсть выдержит и удар молота... Боже мой! Когда же он закончит. Ехать! Надо ехать.

Он вышел вслед за мной, не прекращая говорить. Показал, куда надо ехать. Интеллигентный, вежливый, современный человек. Даже не верится, что только что он заработал на моей беде, на чужом горе пятьдесят рублей.

И снова дорога, и снова, поглядывая на потолок салона автомобиля, даже касаясь его рукой, я продолжал свой бесконечный, изматывающий сердце и разум разговор с Люсей.

– Ты говоришь, зачем я дал ему пятьдесят, хватило бы и половины? Понимаешь, в этой ситуации рисковать нельзя. Пятьдесят – это был тот предел, который наверняка развязывал мне руки.

– Ты понимаешь, все чувства и представления о нравственности, о добре и зле, хорошем и плохом смешались сейчас у меня. Я иногда путаюсь в этих истинах, как ребёнок. То, что я везу тебя, что выполняю твою просьбу – это морально, нравственно, да? Высоконравственно? Согласен. Но посмотри, какими средствами я это делаю. Средства, приёмы, способы мои – они безобразны, очевидно безнравственны. Как же я могу совершить высококонравственный поступок безнравственным путём? Голова моя, как в огне. Ты говоришь, что я не прав? Я это чувствую, но факты, факты! Давай от обратного. Получится ведь одно и то же. Я использую подачки, подкуп, другими словами, даю взятки. Почему? Как почему? А, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я действительно не хочу этого делать, мне противно поступать именно так, но иначе я не могу. Если я так не сделаю, значит, не довезу тебя, не выполню твоего завещания. То есть безнравственно ставить человека в такие условия, когда он вынужден так поступать, как это делаю сейчас я? Да? То есть безнравственно оставлять человека, не обеспечив его нравственные поступки. Да, да! Ты у меня всегда была умницей. В этих послылках действительно что-то есть. Как мы можем говорить о нравственности, если не создан механизм обеспечения, защиты нравственного поведения и отдельного человека, и общества, если стимулируются совсем другие варианты поступков? Мы почему-то объявили нравственную защиту всех и каждого делом их самих: общественность, общественное мнение, общественное воздействие. При чём всё

это, если молодому капитану просто до «зарезу», как говорят, нужны деньги? И очень хочется выпить тем, кто ремонтировал нашу «Волгу» и вытаскивал её из кюветов и бездорожья? Опять я не туда «гребу»? Да, наверное, не туда. Хотя как же мы дожили до того, что на чужой беде стали спокойно зарабатывать, и даже не кусок хлеба. Это бы ещё можно было как-то понять! Конечно, систему обвинить легко. Но я до последней капли крови готов защищать нашу систему. Может, не в ней лишь дело. Любую систему можно загубить. А тем более если она всего лишь только ребёнок, только стебелёк, поднявшийся, тянущийся к свету в полутёмном подвале.

– Не надо сбиваться на эмоции? Ты молодец! Ты, как всегда, права. Не надо эмоций. Мы тут с Ильёй Михайловичем разговаривали. Закон о собственности его здорово интересовал. Понимаешь, как ни глупы были наши предки, но в одном им не откажешь. Нравственность, нравственное поведение они всегда рассматривали в неразрывной связи с собственностью. Не имея собственности, достаточной для того, чтобы прокормить себя и свою семью, своих родных и близких, человек не может быть нравственным, совершать только нравственные поступки. Ты очень хорошо говорила о своих держателях жёлтого света. Они живут для того и ровно столько, чтобы выполнить своё предназначение. Так, кажется. Не совсем? Примерно? Ну хорошо. Предназначение человека – труд. Труд, ради которого он родился, живёт. Пусть эту работу выполнить действительно по плечу только этому человеку. Значит, для этого он и родился. А самовыразиться так может только собственник. На чужой ниве, с чужим «огнивом» нельзя по-настоящему разжечь костёр творчества, самоотдачи, радости и ответственности труда.

– Я невозможен сегодня? Ты права. Сейчас я умолкну, остановлюсь и остужу свою голову, прижавшись к твоему цинковому дому. Здесь ли ты ещё? Или покоряешь новые орбиты? Что ж ты молчишь, дорогая моя?! Скажи хоть слово. Готов отдать всё за ещё одну, хотя бы одну, встречу с тобой.

Я остановил машину. Вышел на заснеженную проезжую часть и увидел позади себя в голубоватом вечернем небе желтоватую светящуюся точку – звезду моей жены, звезду надежды, звезду смерти и жизни.

Люди! Перестаньте копошиться в том смраде, который мы называем жизнью, подымите глаза к небу, всмотритесь в этот желтоватый свет. У каждого из нас может быть такая звезда. Должна быть такая звезда. Иначе зачем живём?

РАССКАЗ СЕДЬМОЙ

Прощай, Европа

Россия отличается от Украины. На смену кирпичным домам и украинским хатам пришли деревянные постройки: большие и неряшливые снаружи и светлые внутри. Бесхитростные, с широкой непричёсанной душой русичи не могли строить иначе. Чем дальше от Харькова и Москвы, тем хуже дороги, больше неразберихи, меньше ухоженности. Бедность надвигалась тем быстрее, чем больше мне удавалось преодолеть этих треклятых километров. Я уже не мог купить в магазинах те же продукты, что и на Украине. Приходилось довольствоваться малым. Да, собственно говоря, я и ел лишь потому, что надо было есть. Нет-нет, да и мелькала, прорывалась мысль о том, что такой гигант, как Россия, непонятно почему раздет и разут, холоден и живёт чуть ли не впроголодь. Многие русские, живущие на огромной территории от Москвы до Волги, за костюмом и рубашкой, бюстгальтером и носками, колбасой и апельсинами ездят в Москву. Перестройка, та самая перестройка всего социально-экономического уклада страны, пока что для такого богатыря, как Россия, была соломинкой, которой пытались ему пощекотать в ноздрях. Но гигант пока что даже и не чихнул.

Мои попутчики обо всём этом говорили равнодушно, как будто это их не касалось.

Пожилой колхозник, всё время упиравшийся рукой в панель «Волги», жаловался, тяжело вздыхал, поглядывая на заснеженные поля.

– Никому это добро, по моему разумению, не нужно. Земля, почитай, как потаскуха стала. Все ею норовят пользоваться,

но пожалеть, как свою жену, обиходить – такого не бывает. Вот раньше как было. У крестьянина свой надел пашни, для сенокоса опять-таки – ляги. У нас сколько их было: Нисти-форово, Гребёнкино, Петухово... – пальцев на руках не хватало пересчитать. И тутечки, и тамечки, и ото-то, и оно-но, и осё-сё! А теперь всё кругом весной черным-черно – распаханно. Стадо выгнать некуда.

Он помолчал, поменял руку на панели. Сидеть ему так на переднем кресле было явно неудобно.

– Боитесь ездить на автомобилях? – спросил я старика, кивком головы указывая на его руку.

– Да нет, не боюсь. Позвоночник у меня пораненный. Вот и сижу как памятник. Вразвалку не получается. Болит проклятый.

Долго молчали. Под автомобильными скатами сторожко потрескивала, набегая на нас, автотрасса. Чистили давно и плохо, сплошь и рядом попадались комочки и комья промёрзлой земли, льда и снега.

– Хорошо, что хоть ещё так почистили, – думал я, – на обочине дороги снега было чуть ли не в пояс. А как же ты, моя родная коломбина, будешь пробираться по этим, так сказать, дорогам в первый же обильный снег или в хорошую пургу? Нет, моя дорогая, я не трушу. Я смел, как никогда. Но эти дороги сравниваются в такую погоду с вот этими бело-снежными полями, и по ним уже придётся не ехать, а пробираться, ползти на днище, преодолевая чудом сугробы, перемёты, колею от грузовиков.

– Тут вот с арендой завозились, – снова заговорил мой попутчик, – смех – одно слово! Председатель колхоза кричит, что пока он в конторе, никакой аренды не будет. И так

произдевались над землицей, а теперь и подавно. В хороший год этот самый арендатор озолотиться сможет, а что в плохой – опять колхоз выручай? Ему, видишь, и землицу давай получше, и технику, чтоб на ходу была, а кому же похуже? С этими арендаторами война прямо. Всё районное начальство и газеты прямо криком кричат за него. А мы не очень. Да и среди наших быть ими никто не спешит. А пришлые – те понастырнее: и то им дай, и это помощи. А председатель одному так прямо фигу и показал. Хороший хозяин, говорит, возьмёт кредит и всё сам будет делать, а у нас нахлебников у самих хоть отбавляй. Тут председатель прав. Я по себе сужу. У нас другое отношение и к хозяйству, и друг к другу было. Хоть сейчас и грамотнее нас молодые пошли, но крестьянской закваски в них давно уже нету. Землю пашет – о зароботке думает, землю луцтит – рубль луцтит, на уборке не зерно бережёт, а гектары, километры считает, да тонны гонит. Деньги зарабатывает. Мы раньше плохо зарабатывали, но и землю, и зерно берегли. Как-то уполномоченный из района деда Сахненко кнутом ударил. Колонну подвод с красным транспарантом вёл дед. А у Василя Трегуба колода прохудилась и долгий след на дороге оставила. Остановил дед колонну подвод, да, почитай, полдня, наломав полына, подметали дорогу да собирали зерно. «Не пушу, – кричит, – так, вашу мать, ни в какой коммунизм, пока всё до зёрнышка мне не подберёте!». И подобрали. Правда, в заготзерно уже к ночи приехали и не первыми, конечно. А уполномоченный уже заранее в райком, говорят, отрапортовал, что его куст первым сдачу зерна начал. Вот и попало деду. А он с гордостью всем об этом рассказывал. Не об обиде, конечно, а о том, что всё до зёрнышка с дороги собрали. А сейчас осенью на эту дорогу посмотри.

На ней зерна больше, чем на плохом поле. Какие они после этого крестьяне!

Голос деда дребезжал и жаловался. А я вспомнил, как на перекрёстке, в городе, увидев булку белого хлеба, жена попросила таксиста остановиться и поднять хлеб. Возмущённый водитель, бешено выпятив глаза, стал кричать: «Вот ещё что удумали, не хватало ещё из-за этого грязного куса аварийную обстановку создать. Кому она нужна?» И переехал булку передним колесом. Машина на какую-то долю секунды вздрогнула, охнула амортизатором. Мы с женой тяжело замолчали. А таксист продолжал: «Удумали чего! Я таких булок, если куски посчитать, вон сколько за месяц или год выкидаю в мусорное ведро, не жрать же сухой, если в магазине каждый день свежий есть! Что, не заработаю на хлеб, а?» Я, грешен, иногда кусочек и выбрасывал, а Люся – никогда, всё сушила на сухарики. Иногда действительно это трудно было понять. Но понять было можно. В войну и после войны корочка белого хлеба была для нас слаще пряника, а сушёная на солнышке кожура дыни – слаще банана. Эх, люди, люди, нас людьми всё же делают обстоятельства больше, чем школа и книги, речи и призывы.

Колхозник разошёлся, кажется, уже не на шутку. Его матерная брань опять вернула меня из мира воспоминаний. Ругался он отменно, по-русски смачно, с удовольствием. Я не любил матерщины, хотелось всегда бросить такому человеку что-нибудь твёрдое в рот, чтобы он поперхнулся собственной грязью слов. Но этому деду заткнуть чем-либо рот мне почему-то не хотелось. Я прислушался.

– Спросил я своего внука: «Как звали твоего прадеда?» – «Не знаю», – спокойно говорит. А стал я про него ему рассказывать, он так меня слушал, что его отлупить захотелось.

Не надо это ему, неинтересно. Вот ты ему про «видик» сказал бы, тут бы он оживился сразу же. Да добавил бы ещё, что денегат на этот видеоманитофон прадед Гаврила ему оставил. Тогда бы он на всю оставшуюся жизнь его запомнил. Раньше мы не только свою, но и родословную Христа наизусть знали. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фореса и Зору от Мамари; Форес родил Есрома; Есром родил Арама...

– Мой бог! Как же прав этот старик, – опять вернулся я в себя. – Мы все какие-то безродные. Дальше третьего колена и родословной своей не знаем. Что я знаю о своём деде, что он из Харькова – казачьей породы, а о бабушке – она, как говорил отец, из Жодинского уезда Полтавской губернии. Как же эти безграмотные, жившие тысячелетиями раньше нас умудрялись знать свою родословную?

– Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов, – вновь я услышал голос обиженного равнодушным внуком деда.

– Да, да, – думал я, – как он прав. – Мы нищие не только памятью, но и духом люди. Мы не только три по четырнадцать, но и трёх колен родословной своей не знаем.

– Говорю я своему внуку: «Давай родословную составлять, это самое дерево, как вы его там зовёте?» – «Генеалогическое, – помогает мне внук. – А на кой оно нам? – говорит он. – Мы все из пролетарской косточки, деда, все. Обойдёмся и без дерева. Не цари же мы какие?»

И снова полился удивительный по сочетанию колен и коленцев мат в адрес продолжателей своего рода. Я не спорил. Молчал. Силился вспомнить о том, как звали деда Люси.

– Да, да, так же, как и отца – Фёдор. Рыбак он был отменный. Енисей как свои пять пальцев знал, – вспомнил я рассказы её бабушки, а как её звали, так и не смог вспомнить.

Не знающий родства не имеет будущего! Почему же мы так уверенно заявляем свои права на него? На это будущее?

– Да, – думал я, – у внуков свой душевный мир, настрой. Они уже чем-то чужды нам. А что ожидает правнуков? Внуки, забыв, предав забвению наши идеалы, ещё не имеют тех, своих, новых, к которым мы должны подготовить правнуков. И это, прежде всего, поклонение выгоде, чистогану. Они будут преклоняться перед человеком, умеющим делать деньги. Они должны быть дельцами, бизнесменами.

Нам трудно понять их, потому что мы воспитаны были в духе христианском, хотя не знали и в незнании своём осуждали это учение, смеялись над ним. Мы стыдились получать много, делать деньги.

Бедные дети, они и не подозревают, что мы вступаем в трагедию поколений, разлом, уничтожение, попрание и обретение идеалов. Да, да, это трагедия миллионов детей, отцов, дедов.

РАССКАЗ ВОСЬМОЙ

Исповедь российского интеллигента

Я подобрал его у обочины дороги. Горький юмор, но это действительно символично. Если не без иронии попытаться посмотреть на судьбу России, то другого места на её пути у нашей интеллигенции даже и помыслить невозможно. Человек у обочины дороги – это и есть русский интеллигент. Так и мне сейчас встретился в пути, на обочине дороги, у села хороший симпатичный человек, уже в годах, мимо которого проехать не хватило сил.

Он, устроившись на заднем сиденье, суетливо благодарил меня за оказанную ему любезность, а затем, узнав о моём горе, неуклюже, точнее, неумело пытался сказать какие-то тёплые, душевные слова и тем самым разделить мою боль, муку, но вскоре окончательно смешался и смолк. Так мы ехали долго. До города, куда мы добирались, было около сотни километров.

А потом он вдруг заговорил. И куда пропали его застенчивость и косноязычие. Это, пожалуй, был лучший из рассказов, который мне довелось услышать от своих попутчиков за долгий путь. Я почему-то запомнил его почти дословно. Вот он о чём говорил тогда.

Так, видимо, устроен человек. Чем старше он становится, тем больше его тянет туда, где он родился и вырос. Так случилось и со мной. Приехал в родное село. Степь, солончаки. Дожди летом село обходят стороной. А совхоз в основном зерноводческий. И вот уж не один десяток лет, пожалуй, с тех пор, как подняли целину, собирают односельчане по 3,5–5 центнеров пшеницы с гектара. А в лучшие годы бывает и по 8–10.

Тем и живут. Правда, помогают хозяйству животноводческая ферма, овцеводство. Молоко, мясо, шерсть тоже дают доход. Но редко совхоз оказывается с хорошим доходом. В основном едва концы с концами сельчане сводят.

Село, конечно, за последние двадцать лет здорово изменилось. Государство помогло с кредитами. Дороги асфальтированные появились, кирпичные дома. Сельсовет из деревянной развалюхи перебрался в просторное здание с добрым десятком кабинетов. Не умирает село, живёт. Фамилию нашу сельчане ещё помнят. Но особого любопытства, внимания городскому жителю, как раньше, уже нет. Сам ходил, возобновлял знакомства. Сейчас земляки мало слушают, больше говорят. Почти у каждого своя позиция. Свой взгляд на вещи, о которых ранее его родители и понятия не имели. Раньше обычно больше поддакивали да кивали головой в знак согласия.

Директор совхоза – мой дальний родственник, человек интересный, с характером. Напорист и самоуверен. В разговорах со мной не таетя. К моим предложениям относится скептически. По всему видно, что он хорошо знает, что делает. О многом мы переговорили. Как-то я сказал ему, что трудно будет односельчанам в условиях рынка, что надо пробовать аренду, кооперативы, приучать человека к предпринимательству на земле. А он мне в ответ, что пока он здесь директор, аренды, тем более частника, на земле не потерпит. И стал мне объяснять, что врозь они на этой земле не выживут. Без малой техники и механизации хутора и отруба не пройдут.

– Какая разница, – возразил я директору, – разоритесь вы по одному или всем совхозом? В зоне такого рискованного земледелия надо отказываться от зерновых. Вон, кони почти

целую зиму на подножном корму, овцеводство может пойти, если корма выращивать. Я смотрел поля. Суданка и кукуруза хороши, потому что попали под августовские дожди. Надо искать, безвыходных ситуаций не бывает.

– Трудно искать, – ответил мне директор, – основная масса – это рабочие, а не крестьяне, и давно уже ничего искать никто из них не хочет.

Мне припомнился разговор с молодыми земляками. Тема была прежней. Их действительно устраивало то, что творилось сегодня на селе, в совхозе.

– Посмотри, – говорил мне один из них, – у меня есть дом, хороший дом с водопроводом и отоплением, летняя кухня, баня, гараж, автомашина, огород, хозяйство хорошее: и корова, и овцы, и куры, и пчёлы. Ходим друг к другу в гости, не надрываем животы, как наши деды на лобогрейках, праздники все, как водится, отмечаем, бог дай каждому. А охота?! Открытие охоты, что твой карнавал! Зорьку готовим заранее, дня за два роли распределяем. Роскошный отдых: шашлыки, водка, ночь на берегу озера, рассказы... Ох! Какие байки, если бы только записать! Да и сама стрельба. Это надо видеть.

– Одним днём живёшь, – останавливаю я его. – Тебе хорошо – и доволен. Детей сколько?

– Двое.

– О них-то подумал?

– Подумал, – отвечает, – поэтому мне вся эта ваша перестройка ни к чему. Я жил до сих пор и хорошо знал день завтрашний, что у меня и моих детей будет в этом завтра: и работа, и одежда, и образование, и кусок хлеба с маслом. А вы мне что предлагаете? Неуверенность в завтрашнем дне, безработицу, вздутые в десятки раз цены? И всё для того, чтобы

удовлетворить заморские аппетиты и запросы взбесившейся от зависти к капиталистам нашей интеллигенции?! Видишь ли, трусы им негде купить с нашим или американским флагом или купальник, чтобы из-под него было всё видно! Презервативы перевелись! Не надо к чужим бабам бегать да побольше детей рожать.

Честно говоря, не ожидал такого поворота в разговоре. Я всё ещё жил образом селянина, которому всё равно, что там в городах да столицах придумали. Он жил себе, как жилось, и на всё отвечал почти одним и тем же: перемелется – мука будет. Поэтому у меня сорвалась с языка нелепая фраза:

– Это уже почти бунт? – сказал я улыбаясь.

– Если надо, и бунт будет, – недовольно буркнул мой молодой оппонент, – понимай, как хочешь. Но реформы ваши здесь нам совсем ни к чему. В Америке такие земли, как у нас, говорят, совсем не пашут. А мы, слава богу, с хлебом, да ещё и других кормим.

Вижу, что он хочет перевести разговор в спокойное русло и не может, горячится. Видно, не безразлично ему всё это, за живое берёт. И в то же время как бы побаивается чуть-чуть и поэтому весь этот разговор ему не хочется продолжать.

Село жило своей прежней, понятной всем жизнью начала восьмидесятых годов. Оно не хотело меняться. Но люди уже были другими. В этом меня окончательно убедил секретарь парткома совхоза. Он только что вернулся с пленума райкома и был, так сказать, ещё в пылу страстей. Говорил об отставке первого секретаря райкома и поносил его, не подбирая выражений. Он буквально окутал меня своим словесным туманом. Говорил долго, торопясь, словно боялся потерять собеседника.

Он утверждал, что мы, коммунисты, на последнем съезде упустили свой исторический шанс создать из КПСС две соперничающие между собой политические партии, которые твёрдо бы придерживались социалистической ориентации, соперничая всё время и находясь поочерёдно у власти. И здесь же добавил, что для создания таких партий есть все условия и достаточно серьёзные противоречия, различные общественные интересы.

– Чем не партии, – спешил секретарь, – например, промышленная и аграрная. Обе могли бы существовать на платформе КПСС, но каждая из них отстаивала бы интересы только своего класса: или рабочих, или крестьян. В байки о том, что их интересы едины, сейчас уже мало кто верит. И представители каждого класса знали бы, что это их партия, а не партократов, как сейчас.

Он на минутку остановился, как бы задохнувшись, и продолжал.

– Если бы вы знали, как я ненавижу этих чиновников от партии и аппарата. У меня от них вся кожа в шрамах. А сколько раз они с улыбкой испражнялись мне в душу?!

Я смотрел, слушал его и думал. Как же так получается, что плоть от плоти партаппарата, ставленник его, человек, находящийся у него на содержании, так отторгнут им, более того – превращён в своего врага? Видимо, не всё так просто в этом партаппарате. И это «непросто» можно было бы понять, объяснить, предсказать, использовать, если бы мы хоть что-нибудь делали в согласии с наукой, заранее обдумав, спланировав, подготовив, исключив всякий «авось».

– Партия не может освободиться от своего аппарата, – возвращал меня к нашей беседе секретарь. – Он как клещ на

дойной корове. Кормилица чувствует боль и хочет освободиться от клеща, но не может и ждёт, когда он напьётся её крови и лопнет от жадности, ненасытности своей. У рядовых членов партии такое же чувство к партаппарату, но что они могут?! У члена КПСС есть одно реальное право после нынешнего съезда – платить или не платить партвзносы. Все другие права – это большая ложь партаппарата для партийных романтиков. Поэтому единственное средство освободиться от партаппарата – это уйти от него. Только создав из КПСС две парламентские партии, оставив партаппарат, так сказать, со своими интересами наедине, можно что-то радикально изменить в нашей жизни.

Секретарь почему-то поднял вверх указательный палец, посмотрел на него и улыбнулся. Ему эта идея, видимо, очень нравилась.

– Вот здорово было бы, а? – продолжал он. – Я не Манилов. Я понимаю, что это невозможно. Для разделения партии необходима команда всё того же партаппарата. Он на это никогда не пойдёт. Но эта жадность клеща рано или поздно приведёт к полному поражению социализма у нас, в России, например... Свято место пусто не бывает. На смену КПСС рано или поздно придёт иная партия. Это понимают теперь даже дети. И новая партия может быть организацией наших идейных противников. При нынешнем отношении людей к партаппарату такой вариант неизбежен. Как это уже было в других странах? А что вы думаете, у нас будет иначе? Это уже дело только времени...

Он, конечно, был прав, хотя эта правда и не так проста, как изрекали её пухлые губы секретаря.

– Поймите, я – коммунист, как говорят, до мозга костей, и за свои идеи готов идти на крест, если хотите. Но что я могу сделать? Наше твердолобое начальство, конечно, понимает эту перспективу, не может не понимать. Но в то же время и не в силах расстаться со своим нынешним положением. Пришла пора свергать их, а кто за это возьмётся? В любой борьбе партаппарат так поднаторел, что всегда будет победителем, если не мытьём, так катаньем.

Вскоре к нашей беседе присоединился председатель сельсовета. Он, щурясь, как будто солнце ярко светило ему в глаза, медленно и степенно рассуждал о том, что человек с характером Горбачёва хорош как разрушитель и настолько же плох и несостоятелен как созидатель. Он блестяще, по мнению председателя, разрушил, хотя с очевидным опозданием, всё, что надо разрушить, но создать пока ещё практически ничего не успел и вряд ли успеет.

Я пожал плечами, промолчал и подумал, что не кто иной, как Горбачёв, сумел создать из тебя, председатель, новую личность, смелую и независимую, хотя бы на словах. Мог ли ты не только говорить, но и думать так, например, о Сталине или Андропове, Брежневеве или Хрущёве? Но почему-то мне вдруг вспомнилась радищевская фраза: «Вместо того, чтобы в народе моём... прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом... – Удержи своё милосердие, – вещали тысячи гласов, – не возвещай на его великолепным словом, если не хочешь его исполнить... Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем».

Мы говорили и говорили. Здесь, в глуши было тихо и покойно. Где-то там, за тысячи вёрст трещал по прочным швам

и рушился наш великий и могучий, как мы раньше пели, нерушимый Союз, лилась кровь, сыпались проклятья и угрозы, распадались многонациональные семьи и коллективы, гибли люди... А мы всё говорили и говорили со свойственной нам, советским людям (от первого лица в государстве и до последнего колхозника), склонностью к риторике и очевидному бездействию. Это наше национальное, наше богатство, наш талант. Говорить нам всегда интереснее, чем делать. Делать должен другой, делатель, может быть, тот же Ельцин или кто-то ещё.

Да, вот по поводу Бориса Николаевича... Эффект Ельцина мне знаком давно. Что я под этим понимаю? Да, собственно, социальный механизм его политической карьеры. Мне пришлось наблюдать, как удивительно бережно, с огромным уважением и любовью относился народ к Маленкову в изгнании. Для народа не важны были его дела. Главное в том, что он – изгнанник, а если так, то и страдалец за правду. Это затем повторилось с Косыгиным и самим Хрущёвым, а сейчас с Ельциным. Будь я историк, я бы выделил это явление в русской истории, и почему бы не назвать его, например, эффектом Ельцина?

РАССКАЗ ДЕВЯТЫЙ

Продолжение исповеди российского интеллигента

Старость не только видна, у неё есть свои звуки и запахи, которые неотделимы от неё. Как больно всякий раз они мне ранили сердце, душу. Я всегда вспоминал своих родителей, что у них то же и так же, ибо иначе и быть не может. Успокаивал себя тем, что я – заезженная лошадь, загнанная жизнью, попавшая в колею, выбраться из которой нет уж сил, не суждено. Иногда я думал, что с удовольствием, если бы была работа в селе, бросил кафедру, университет, город и поехал бы в деревню ходить за родителями, «доглядывать», как говорила мама, их старость, закрыть их глаза, когда придёт то неминуемое, что мы называем смертью.

Но вот умер отец. Спеша за тысячи километров из Европы в Азию, я не успел на похороны. На его могиле мне было больно и стыдно, что всё так случилось. Очищающие слёзы уже не помогали. За своими плечами я слышал шёпот, откровенный и изумлённый, что я уже и сам старик. Не только волосы мои, но и брови потеряли прежний цвет. На мир и окружающих меня людей смотрел действительно седой, усталый и старый человек. Как быстро прошла жизнь! Что же я сделал для отца и матери, чтобы оказаться благодарным сыном? Учился во их славу? Таскался по стране и миру, доказывая всем и каждому, что их сын всё может? Писал письма, слал телеграммы, посылки с заморскими гостинцами? К чему всё это? Вот в шкафу висят чистые и отглаженные мои подарки: рубашки и костюмы. На вешалке – недоношенные мною пальто. Боже! Как всё это стыдно! Хотеть, желать

и даже пытаться сделать что-то приятное для родителей – и видеть в конце, что ничего не сделал. Мог и не сделал. Хотел и не смог. Всё откладывал на потом, которого никогда не было. Так хотелось вернуться в эту прошлую, быстро промелькнувшую жизнь, хотя бы для того, чтобы сделать всё же что-то очень доброе, светлое, запоминающееся для своих самых родных и близких тебе людей. Именно то самое, что можно было бы вспомнить перед смертью с блаженной улыбкой на устах.

Мы сидели с мамой в опустевшей после похорон отца квартире. Запах старости и тягучий звук тишины, в котором как соло выделяется поспешное тиканье старого будильника. Хотелось встать и спрятать его куда-нибудь, чтобы не слышать этого тиканья. Оно резало слух, что-то с болью вторило ему в груди.

– Может, и не надо было, сынок, куда-то ехать, убиваться так, как мы, когда тебя учили, – заговорила мама, – работал бы дома, как и все в совхозе. Вместе бы и жили. И не было бы у тебя белых бровей. Смотри, у меня ещё не седые.

И действительно, у мамы брови ещё не поседели, а ей уже восемьдесят почти.

Может быть, действительно не стоило мне летать в облаках науки, ловить удачу, переживать падения? Может быть, не стоят мои научные труды вот таких простых и необходимых нам обоим слов? Тогда и не было бы в этой квартире запахов одиночества, запустения и старости.

– Здесь, в двухэтажке, нас много таких, – говорила мне мама, отклоняя моё предложение немедленно ехать со мной. Подожду до осени. Что мне надо? Тепло, за водой не ходить, туалет тоже в хате, паёк дают, обута и одета. Как же я к тебе поеду, если у вас зимой и снега не бывает. Не смогу я там жить.

Она не понимала, что каждым своим словом казнит меня. Её слова били и ранили очень больно.

– Так мне и надо. Так мне и надо, – думал я, – заслужил и большего.

– Тут, в двухэтажке нашей, таких, как я, человек двенадцать живёт. Одни старухи да калеки. Ты хоть и далеко живёшь, но пишешь или звонишь. А у них дети тут, рядом. И старухи эти никому не нужны. Приходит сын или невестка раз в неделю, принесут в узелке поесть – и до свиданья.

Я видел этих старушек, проходя в подъезд двухэтажки. Они смотрят всякий раз на меня с вниманием и любопытством, как дети в детском саду, когда вечером ждут родителей, чтобы пойти с ними домой. Хором, стройным хором отвечают они, когда заводишь какой-либо разговор. И с радостью слушают всё, что им говоришь. Это от потребности к вниманию, общению. Дефицит ласки заставляет светиться их лица, когда обращаешься к ним. Мой бог! Звери мы лютые, жабы бездушные, если можем так обходиться со старостью. Твари безмозглые, если не понимаем, что на этих примерах воспитываем детей своих и самим себе готовим будущее.

Мне больно видеть и страшно проходить сквозь этот старушечий строй. Правда, они не стоят, а сидят на скамейках у подъезда. Но это действительно строй. Строй нашего милосердия – совхоз отвёл им большую часть двухэтажной мало-семейки. Строй души нашей – холодные и равнодушные дети ходят раз в неделю к своим престарелым родителям. Строй нашего общества – громадные отвалы словесной шелухи об обеспеченной старости и полная бездуховность в общении с теми, кто стар и немощен. Мой бог! Это какой-то сумасшедший дом, если добавить к сказанному тонны бумаги и

миллиарды слов, написанные о морали и милосердии. Нет, не убеждайте меня, мы не люди! Люди так поступать не могут.

Я посмотрел там на себя со стороны и увидел себя мохнатым чудовищем с язвами и рубцами на лице, с зияющей пустотой вместо души. И это чудовище рычало, куксилось и отводило глаза, не в силах выдержать чистый и любящий взгляд своей матери.

Двенадцать пар чистых и верующих глаз я встречал всякий раз, когда проходил сквозь строй у подъезда двухэтажки. Нет, вру. Глаз одной старушки я так рассмотреть и не смог. Веки её были изуродованы какой-то болезнью, и от глаз остались ужасные щели, в которых таились жизнь, надежда и неутолённая жажда внимания и душевного тепла.

РАССКАЗ ДЕСЯТЫЙ

Болезнь и встреча с сыном

Я не помню, сколько уже стоял так, прижавшись горячим лбом к её цинковому дому. Тишина на дороге стояла необыкновенная. Или мне так казалось.

Тишина с безумной силой
Давит мне на перепонки.
Все понятия сместились
Закричать осталось только.
Я кричу. Лесное эхо
Сыплет иней мне за шею,
И, услышав чудо это,
Замираю я, хмелею:
Средь белых простыней
Овал её я вижу
Слова любви, мольбы, дыханье слышу,
Озёрным запахом её волос дышу...

Я понимаю, что реальность и вымысел стирают границы в моём больном восприятии, что так дальше продолжаться не может. В следующем райцентре даю тревожную телеграмму сыну, чтобы он вылетел мне навстречу в город С. Иду к начальнику милиции и обо всём рассказываю ему. Прошу помочь добраться с машиной до города. Здесь недалеко. По европейским дорогам – день езды. Сибирь мерит дороги своими мерками.

Василий Петрович – начальник местного отдела милиции – оказался удивительным человеком. Несмотря на свою занятость, он почти сутки возился со мной. Сам сопровождал до областного центра, побеспокоился о техосмотре машины,

её заправке. Его облик, наши разговоры в пути никак не вязались с теми представлениями о милиционере, какие у меня сложились до этой встречи.

Когда мы подъезжали к аэропорту, сын уже встречал нас. Оказывается, это тоже дело рук Василия Петровича. Недаром мы останавливались в городе. За эти несколько минут он смог по-человечески организовать и нашу встречу. Это было просто чудо, потому что я много летал и хорошо знаю обычную аэрофлотовскую неразбериху.

– Как же ты долетел, сынок, как же тебе это удалось столь скоро? – бормотал я, видимо, далеко не те слова, которые говорят в таких случаях.

После объяснения и слёз, тягостного молчания у гроба на ветру и морозе мы попрощались с Василием Петровичем, как его потом назвал сын – милиционером из сказки, и дорога снова позвала нас за собой. Она всосала нас в себя, как гигантский пылесос, и мы, покорные этой стихии, бежали, летели, не имея ни малейшей возможности что-то изменить, повернуть вспять в этой гонке.

На меня, как в детстве, надвигалось, захватывало и влекло, вызывая жутковатую пустоту в груди, под «ложечкой», какое-то не охватываемое сознанием движение в виде зримо ощутимого ветряного кругового потока, огромного, умиротворяющего и разного. Всё исчезало вокруг временами, кроме этого колеса. Может быть, в такие минуты мы общаемся с вечностью.

Она вновь приходила ко мне в такие минуты. Как в живом телевизоре, мы вдвоём, прижавшись друг к другу, смотрели с огромным интересом на свою прошедшую жизнь. Иногда мне казалось, что мы уже шагнули за экран этого телеприём-

ника и не смотрим, а вновь живём своей беспокойной и счастливой жизнью, которую ни в чём не хотим изменить сейчас, имея возможность прожить её повторно, ещё раз.

– Как же так, – думал я, – ведь многим мы были недовольны в той, прожитой жизни. А сейчас всё это нам было так дорого, что мы даже думать не хотим о том, чтобы тот или иной отрезок её прожить иначе, заново.

– Не удивляйся, – говорила Люся, – как это ни звучит странно, но у каждого человека своя программа жизни. Хочешь, я могу прокрутить и оставшийся тебе отрезок.

– Нет, нет, – уже кричал я, – не хочу. И чувствовал, как в своей руке судорожно сжимаю руку сына, слышу его речь, но не могу и, как мне кажется, не хочу понимать смысла слов: это разлучит меня с нею. А этой разлуки я уже не перенесу, не хватит сил.

Как мне потом рассказывал сын, такие сцены у нас в машине повторялись часто. И он никак не мог решить задачу, которая, видимо, и не имела правильного ответа: госпитализировать меня по дороге или с риском для здоровья, а может быть, и жизни, везти дальше, уложив на заднее сиденье «Волги». Так проходил не один день.

РАССКАЗ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ

Отпевание

Я бывал в храмах, но как турист, как обыватель, которому всё красивое интересно. Люся церковь воспринимала по-другому. Для неё посещение храма всегда было праздником.

– Вот так бы вам, коммунистам, – говаривала она неоднократно, – создать в своих партийных домах такую же по накалу душевного настроя обстановку. Я бы тогда обязательно вступила в КПСС.

Видимо, на отношении к церкви сказывалось детство. После смерти отца она воспитывалась с бабушкой – человеком верующим и терпимым. Поэтому частое посещение церкви было для неё обычным делом. Она понимала логику и содержание этого «действия», того таинства, которое вершилось на богослужениях. Мне это было недоступно. Нам некогда заниматься религией, да и книг подходящих под руками в те годы не было. Мы привыкли в основном разоблачать, показывать «антинародную» сущность богословия и, кажется, в этом здорово преуспели. Церкви остерегались, всего церковного стыдились. Позже, читая Евангелие, я поражаюсь двуличию наших вождей, которые клеймили верующих и жили по их законам.

«Кто не со Мной, тот против Меня», – учил апостол Матфей. «Кто не с Нами, тот против Нас», – вторил ему чудовищный аппарат власти в нашей стране почти на протяжении семи десятилетий. И в тюрьмы, ссылки, психбольницы и в мир иной шли все инакомыслящие, почти все, кто давал о себе знать. Дальновидные правдами и неправдами бежали за границу или молчали.

«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым...» – учил апостол Матфей.

«Яблоко от яблони недалеко падает», – вторил ему чудовищный по силе и духу аппарат власти, насилия в нашей стране, и вслед за неугодными руководителями следовали дети. Начали с царской фамилии. Участь царя Николая разделяют и дети его. И так было несколько десятков лет. Ещё в период хрущёвской оттепели я видел в изгнании Маленкова, работал вместе с сосланным в Казахстан, а затем в Сибирь сыном Деканозова. Какой-то чудовищный замкнутый круг, неумолимые жернова, которые перемалывали завтра сегодняшних праведников, становящихся в одночасье великими грешниками. Их участь всегда делили и их дети. Если признавалось «дерево худым, и плод его худым» признавался незамедлительно.

Хорошо бы сейчас, во время перестройки, вновь вспомнить того же Матфея: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Да не откладывать этот суд. Чинить его ежечасно, ежедневно. Наши руководители давно уже уподобились тем праведникам и пророкам, о которых говорится в Библии: «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали».

Общество наше рвётся на части и куски. Интересы наши расслоились. Разные мы – и скорее не по духу, а по интересам этим. Власть имущие желают её сохранить. Власть жаждущие хотят её иметь, но не могут и не умеют не только реализовать, но и выразить, оформить привлекательно для других свой интерес. А не имевшие власти и не ищущие её так и не в силах понять, что всегда и везде оказываются в проигрыше, потому что и первые, и вторые их интересы держат про запас, считают вторичными для себя, пытаются

попросту пользоваться ими. Где же среди этой «склоки» интересов найти праведника, тем более проповедника? Это же иголка в стоге сена! Да и «распяты» его как тем, так и другим не составляет труда. У них в руках рычаги информации. У проповедника – ничего, кроме души и мирских забот. Не удивительно, что и столпы церкви «льнут» к сильным мира сего, славословят, осторожничают, используют их сильные и слабые стороны, чтобы отстоять, защитить или укрепить свой собственный интерес. «Горбачёв не годится на эту роль, – как-то незадолго до смерти сказала мне Люся, – слишком экзальтированы его интересы и примитивны желания. Нельзя быть пророком, думая о своём благе, нельзя быть праведником, не заботясь ежедневно о хлебе насущном. Нельзя вести за собой людей, задабривая богов своих, принося жертвоприношения имуществом этих людей».

Я пытался спорить с нею, физически (удивительно, но это действительно так) ощущая правоту её, может быть, не слов, а мыслей, существа. Она умела видеть и слышать. Святая, воистину святая.

В любом храме я всегда человек и всем, как мне кажется, мешаю. Людей в церкви немного. Богослужение окончено. Вторая половина дня. Что-то наподобие кассы вижу рядом. Мысль, сама по себе «магазинная», бытовая, смущает. Но я обращаюсь к сидящему там молодому пареньку.

– Жена у меня умерла. Мне бы сделать всё, как полагается. Кому и сколько заплатить?

Паренёк долго и бестолково что-то пытается мне объяснить, затем приглашает женщину средних лет, смышлённую и бойкую. Она растолковывает мне, как я должен вести себя, что ожидать от церкви и за какую цену. Рассчитываюсь, написав на листке имя её, но не Люся, как она любила, а торжественно и официально – Людмила.

На следующий день иду на богослужение с утра. Плохо, как и с Люсей, понимаю смысл происходящего. Священник говорит тихо, скороговоркой, наверное, бережёт голос. Люди вокруг меня внемлют, крестятся, падают на колени, бьют поклоны, целуют ему руку и что-то пьют из большой чаши. Священник вытирает им красным платком уста. Они припадают к его руке. Он их крестит, благословляет. Больше всего я хочу слышать в устах священника дорогое мне имя – Людмила. Но служба кончается, и я, разочаровавшись, пытаюсь заговорить со старушками, снующими туда и сюда вокруг стола с дарами для усопших, которые мы принесли к службе. Таких, как я, видимо, было много, потому что целый ряд столов у стены был заложен продуктами.

Не добившись от них вразумительного ответа о том, почему же не было отпевания усопших, я уже готов был расстроиться окончательно, когда у торца этих столов появились несколько человек в штатском одеянии и священнослужитель. Они, с книгой в руках, которую листали и передавали друг другу, стали петь. И в этом песнопении я уже отчётливо слышал наряду с другими именами и имя Людмилы. Священнослужителю помогали двое юношей и пожилой мужчина. У него что-то не ладилось с паникадиллом, оно не разгоралось, и он то и дело ковырял в нём пальцем, энергично размахивая им. Хористы пели без особого рвения, с ленцой, и мне хотелось подойти и особенно одному из юношей дать хороший подзатыльник. Но вскоре к ним присоединилась и женщина, которой я платил деньги. Хор ожил. Теперь они мне нравились. Появилось то самое таинство, которое присуще только церкви. Сердце моё переполнялось радостью, когда я думал, что Люсе это бы понравилось.

На другом столике для меня приготовили несколько щепоток земли, которую я должен был высыпать на могилу Люси. Земля, как мне объяснили, освящена. Так полагалось. Таков обычай.

РАССКАЗ ПОСЛЕДНИЙ

Похороны

Мне казалось, что самое трудное – это довезти её до места, как она просила. Но я ошибся. Мне предстояло пройти ещё один круг унижений, круг нашего обычного ада, видимо, круг последний.

Если уж говорить о моих (наших) кругах ада, то к первому следует отнести посещение морга. Я попросил врача сразу же после смерти показать мне её. С наивностью ребёнка уговаривал я Ивана Филипповича разрешить мне посетить морг, побыть с нею наедине. Морг – это чудовищное надругательство над умершими. Их свозят туда со всего города и, в зависимости от количества поступивших, складывают, как придётся. Естественно, что больница не оставит на умершем или под ним носилок или простыни. Поле боя выглядит раем по сравнению с моргом. Умершие лежат нагие, истерзанные, изрезанные, зашитые на скорую руку, изуродованные. Зрелище настолько поражающее воображение, что трудно подобрать слова и эмоции. Чувства здесь умирают. Они не могут выжить в таких условиях. Переступая через трупы и рискуя наступить на них, родственники выносят «своих». Служители их усиленно допрашивают о приметах, боясь, как бы не случилось подмены. Здесь же рядом кровь, отрезанные конечности и дикий холод от морозильных установок.

Только потом я понял, что кровь на настиле, где лежала Люся, была не её. Обмыть, естественно, было нечем – нет воды. И мне пришлось добывать воду, ведро – одним словом,

кроме меня, это никого не интересовало. Не храм смерти, как думал я ранее о морге, это было вместилище грехов наших и преступлений перед умершими.

Одевая и забирая Люсю, я думал о том, что таких унижений умерший не может вынести. Он должен ожить, он должен восстать, он обязан отомстить за себя, за своё поруганное достоинство, за свою честь. О, командор, прегрешения Дон Жуана – это мелочь по сравнению с тем, что могло бы случиться с тобою, с твоей честью в советском морге. Мои чувства там молчали. Их просто не было. Это был шок. Если бы они не отключились, я обязан был бы разнести это учреждение по кирпичику. И любой суд, даже советский, меня бы оправдал.

На похоронах было много людей: товарищи и знакомые сына, соседи. Но мало кто из них знал, что это место для Люси удалось достать только через те же бутылки водки, коньяка.

Кладбище сейчас – это не место вечной скорби и успокоения, как было раньше, это не визитная карточка города, как думали в старину и по наивности ещё полагают нынешние путешественники. Нет, это стыд и позор современного города, это место работы, а следовательно, и извлечения выгоды для многих из тех, кто там подвизается; это, наконец, современный расчёт и современная техника. Могилы роют впрок, хорошо, если экскаватором. (Мне говорили, что есть опыт рытья могил бульдозером в виде длинного рва, куда ставят гробы и соответствующим образом засыпают.) Эти могилы строго определённой ширины, длины и глубины. Стандарт. И беда тем, кто не соответствует стандарту, да ещё имел несчастье умереть зимой. Мёрзлая земля, как сталь. Лопата её не берёт. Лом высекает искры, как из камня.

В таких условиях говорить об оградке, о цветах на могилке, о столике для поминовения, о деревце как о памяти – просто кощунственно. Могила наступает на могилу, памятник теснит себе подобный, тоже стандартный. Чтобы подойти к могиле вдвоём, семьёй, тем более всем вместе, надо осквернить соседа по могиле, наступить или коснуться другого памятника, опереться, чтобы не упасть, на чужой крест. Весной и осенью здесь такая грязь, что трудно порой вытащить ноги. Трава не растёт, так как местное начальство обычно даёт распоряжение: прежде, чем копать могилы – снять плодородный слой и вывезти его, как они считают, в более нужные места. При этом все кустарники, все деревца уничтожаются подчистую. Сохранить дерево – значит, лишиться могилы, а хорошая могила – это всегда дефицит. Милая! Как же я выращу на твоей могилке рябинку? Я обязан это сделать! Могилу для Люси отвели на склоне оврага, почти в овраге. Мы не могли этого допустить, тем более что это далеко от центральной проезжей части, где похоронена партийная, советская элита города. Служители кладбища, получив коньяк, нашли именно такое место, какое нас устраивало.

После прощания ты уходила в землю. Вновь чем-то резануло по сердцу, когда твой гроб вдруг остановился, не проходя по ширине в могилу. Ребята заволновались и стали маневрировать, наклонять гроб влево и вправо, вверх и вниз. И ты снова разрешила распоряжаться собой. Гроб встал на положенное ему место. Быстро соорудили настил над ним. Так будет тебе хорошо. Земля не раздавит лёгкий цинковый гроб. Спи спокойно, моя дорогая! Спи, я скоро приду к тебе. Приятных встреч тебе.

Странные чувства терзают мою душу после расставания с Люсей, и я шепчу, хотя хочу кричать громко, но нет сил.

Мёртвые, пробудитесь, восстаньте! Уничтожьте нас, своих современников и потомков. Мы не потомки ваши – подонки! Тот, кто не склоняет голову перед умершим, тот, кто не падает ниц перед ним, не достоин жизни. Потому что это не мыслящий человек. Homo sapiens способен представить себя на месте усопшего, может понять, что рано или поздно окажется на его месте. Мы же не в состоянии даже заставить себя подумать об этом. Какая трагедия разыгрывается на свете! Невидимая, неслышимая и никому из живущих ненужная! Мы, участники, даже не понимаем существа её. Будь же проклята жизнь, сделавшая нас такими! Будь же трижды прокляты те, кто видит, понимает и ставит (режиссирует) эту драму. Я понимаю, что у меня снова истерика. Хорошо, что рядом сын.

Говорят, что японцы бережно ухаживают за русскими кладбищами в Японии и никак не могут понять, почему мы, русские, не посещаем их. Бедные японцы, если бы они знали, как мы относимся к своим кладбищам в России и какие кладбища мы носим в душах своих!

Запорожье–Томск, 1990 г.

Содержание

И это всё о нас.....	3
Вместо предисловия	5
Рассказы моей бабушки.....	7
Рассказы моей мамы	16
Рассказы отца	24
Отправка на фронт. Пишу от имени отца.....	26
Что помню я, и что обо мне рассказали ближние, родные.....	40
Баба Бойчиха. Макагон. Наташечка Била	47
Школа	50
Университетские годы	68
Прокуратура.....	81
Прокурор или преподаватель?	91
Послесловие.....	98
Коротко о себе.....	99
Беседы и путешествие с мёртвой женой	
по Советскому Союзу.....	101
Обращение к читателю	103
Рассказ первый. Об обстоятельствах,	
которые предшествовали путешествию.....	105
Рассказ второй. Вторая ночь	110
Рассказ третий. Безумный бесноватый мир.....	113
Рассказ четвёртый. Вторая встреча с женой	
после её смерти (начало)	117
Рассказ пятый. Теряя, ценим мы,	
вернуть что невозможно.....	122
Рассказ шестой. Встреча с Москвой.....	124
Рассказ седьмой. Прощай, Европа.....	130
Рассказ восьмой. Исповедь российского интеллигента.....	136
Рассказ девятый. Продолжение исповеди	
российского интеллигента.....	144
Рассказ десятый. Болезнь и встреча с сыном.....	148
Рассказ предпоследний. Отпевание.....	151
Рассказ последний. Похороны	155

ЛЕБЕДЕВ Владимир Максимович

И ЭТО ВСЁ О НАС

Редактор Е.Г. Шумская
Оригинал-макет А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой

Подписано к печати 26.07.2017 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага для офисной техники. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 9,3.
Тираж 10 экз. Заказ № 2661.

Отпечатано на оборудовании
Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел. 8+(382-2)-53-15-28
Сайт: <http://publish.tsu.ru>; E-mail: rio.tsu@mail.ru